ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

ЧАСТЬ 2

ВЫПУСК I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗД-ВО
ЛЕНИНГРАД
1924

МАРК КИРНАРСКИЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ХРЕСТОМАТИЯ

ПО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Составили М. ЛЕВИН и О. ЮРГЕНС

Часть II, вып. 1-й

«КАПИТАЛИЗМ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

Гиз. № 5877. Ленинградский Гублит № 66 Отпеч. 10.000 экз.

Вместо предисловия.

«Литературная хрестоматия по политэкономии» предназначается в качестве пособия для прохождения курса политэкономии в школах II ступени, совпартшколах, на рабфаках и т. п.

Указания на способы ее применения при построении лабораторного урока даны в предисловии к I части.

Первая часть хрестоматии включала: развитие товарного хозяйства, первоначальное накопление, мануфактуру. Кроме того, в нее же вошли отделы: «Товар» и «Деньги». В виду обширности последующего материала II часть хрестоматии издается в двух выпусках. В первый включены отделы: «Превращение денег в капитал», «Производство прибавочной стоимости», «Фабрика и рабочий», «Заработная плата», «Накопление капитала», «Капитализм и сельское хозяйство». Во второй выпуск — отделы: «Понятие о рынке и нетрудовых доходах. Классы», «Кредит и банки», «Кризисы», «Акционерные о-ва. Капиталистические монополии», «Финансовый капитал. Империализм. Мировая война», «Социализм и коммунизм».

Что касается до переходного периода, то он подготовляется к печати отдельным выпуском.

Не все из перечисленных отделов представлены одинаково полно. Однако, это обстоятельство остается неустранимым, так как некоторые отделы политэкономии трудно поддаются иллюстрированию литературным материалом и требуют при прохождении иного подхода. Так, например, вопрос о концентрации средств производства и централизации капитала гораздо ярче и полнее иллюстрируется статистическими данными. Вообще применение «Хрестоматии» в курсе политэкономии мыслится нами лишь в тесной связи с использованием другого рода приемов преподавания и пособий. Найти в соответствии с особенностями аудитории и объемом курса конкретные формы объединения всех этих приемов для содействия самодеятельной работе учащихся — задача преподавателя нашей школы.

ПАМЯТИ КАРЛА МАРКСА.

(Стих. В. Кириллова.)

Пророк грядущих радостных веков,
Крылатой мысли пламенный титан,
Ты бросил в мир мятежно-страстный зов:
Восстаньте, угнетенные всех стран!

Чудовищу, чье имя — капитал,
Ты, мудрый, дал испить смертельный яд,
И старый мир от боли застонал,
Предчувствием мучительным объят.

Как молнии сверкающей излом,
Как солнце, побеждающее мрак,
В учении пленительном твоем
Открылся нам спасительный маяк.

Твои мечты, как стаи алых птиц,
Дыханьем радости над миром пронеслись —
Навстречу им, как зарево зарниц,
Костры восстаний к небу поднялись.

Над ужасом московских баррикад
В тот страшный час не твой ли реял дух?
Париж... Коммуна... Красный Петроград
Еще не раз взволнуют братский слух...

Пророк грядущих солнечных веков,
Могучей мысли пламенный титан,
Ты бросил в мир великий властный зов:
Восстаньте, пролетарии всех стран!

I

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ В КАПИТАЛ

ТАЙНА ЭКСПЛОАТАЦИИ.

(Д. Михалевский: «ПРИБАВОЧНЫЙ ПРОДУКТ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ») [1].

Если хозяин молочной фермы смотрит на корову, как на машину для производства молока, то меновое общество смотрит на своих освобожденных от средств производства членов, как на машины для производства рабочей силы.

Наш новый товар — рабочая сила — держит в черном теле своих продавцов, но зато перед покупателем открывает самые заманчивые перспективы. Покупая рабочую силу, он оплачивает или делает вид, что оплачивает ее стоимость. Но покупает ее он ради ее потребительной стоимости... [2].

Труд — вот название потребительной стоимости рабочей силы. Труд, выступающий в данном случае не со своей конкретной стороны, создающей сапоги, мыло или свечи. Продукты, как таковые, покупателя рабочей силы не интересуют. Тут выступает труд, как струйка из общего резервуара трудовой энергии общества, труд, застывающий в продукте в виде стоимости. Получать новую стоимость взамен стоимости, авансированной на покупку рабочей силы, — вот истинная цель капиталиста. Разумеется, необходимо, чтобы новая стоимость была больше прежней. Иначе игра теряет свой смысл... Способ уловления прибавочной части уже предопределен одним фактом превращения рабочей силы в товар...

Эксплоататор может отбросить хлыст, которым он до сих пор выколачивал прибавочный продукт. Он может отбросить и другое орудие эксплоатации — обман. Он честно и благородно оплачивает стоимость рабочей силы и этим самым оплачивает необходимый продукт. Прибавочный продукт достается ему даром. На единственном понятном для капиталиста языке стоимости это звучит так: «ты оплатил стоимость рабочей силы и получаешь стоимость продукта труда; разность в виде прибавочной стоимости подносится в виде подарка противоречиями закона стоимости». Начал он за здравие, стремясь как бы к обеспечению непосредственному производителю полного эквивалента продукта его труда. Кончил закон стоимости за упокой — обездолением производителя в пользу покупателя его рабочей силы.

Когда ты покупаешь вино, тебе волей-неволей приходится заботиться о боченке. Рабочую силу тоже нельзя покупать одну. Нужна губка, которая могла бы впитывать драгоценную влагу труда и не дать ей пролиться бесплодно. Такой губкой служат средства производства — орудия, сырье, вспомогательные материалы. Они впитывают труд, превращающий их

[1]) «Молодая Гвардия». 1922 г. № 6 — 7.

[2]) Многоточиями обозначены пропуски в тексте произведений, из которых взяты отрывки.

в новый продукт и присоединяющий к ним новую стоимость. Рабочий только потому выносит рабочую силу на рынок, что сам он свободен от обладания средствами производства. Капиталист только потому покупает этот товар, что он одновременно купит необходимые для его рационального потребления средства производства. И так часто бывает — хлев для телят стоит дороже самих телят. Однако ж, расти могут только телята, а отнюдь не хлев. Капиталист, жаждущий только возрастания попавшей в его руки общественной силы стоимости, принужден покупать средства производства, стоимость которых возрастать не может. Стоимость средств производства, подобно проглоченной ребенком медной пуговице, выходит из процесса производства такой же, какой она вошла в него. Стоимость сырья, материалов и изношенной части орудий просто переносится на продукт. Возрастать может только стоимость, которую капиталист авансировал на покупку рабочей силы, или, точнее говоря, которую рабочий, получающий свою плату только после работы, авансирует капиталисту. Одна часть капитала должна примириться с невозможностью возрастания, чтобы другая могла возрастать. Одна часть должна пойти на покупку средств производства, чтобы другая могла пойти на покупку рабочей силы. Одна часть капитала должна увидать себя величиной постоянной, чтобы для другой открыть перспективу величины переменной. Отсюда деление капитала на части постоянную и переменную, на средства производства и рабочую силу. Об этом делении, впервые открытом Марксом, капиталист, для которого один рубль так же дорог, как и другой, совершенно не знает. Но неведение волком подразделения зубов на резцы, клыки и коренные никогда не мешает ему исправно владеть своими зубами. Капиталист не хочет задумываться над вопросом, каким образом его рубли распределят между собою свои обязанности. Он знает одно: его капитал возрастает, и он искренно верит, что этот приятнейший для него процесс проделывает весь капитал, а не только часть его, которую он слепыми пятаками выдаст рабочим. Его капитал разбухает, жадно впившись в источник стоимости — рабочую силу.

Капиталисту же кажется, что его капитал носит источник стоимости внутри себя, в своем ненасытном чреве... Капитал — не есть машины, табак или каменный уголь. Это — стоимость. Но — стоимость окаменелая — только сокровище, а не капитал. Только когда кристаллизованный в виде стоимости мертвый труд начинает улавливать труд живой, когда стоимость таким образом приобретает способность самовозрастания, она становится капиталом. И стоимость, и капитал суть только общественные отношения. В стоимости товара выражены общественно-производственные отношения равных производителей. Капитал есть выражение отношения класса производителей, превратившихся в продавцов рабочей силы, и класса присвавателей прибавочного продукта путем покупки рабочей силы — класса капиталистов.

РАБОЧАЯ СИЛА.

(Джэк Лондон: «КАК Я СТАЛ СОЦИАЛИСТОМ?».)

Я родился в среде рабочего класса... Меня безжалостно эксплоатировали. У меня были сильные мускулы. И капиталисты извлекали из них пользу, а мне бросали скудный кусок.

Я был матросом, портовым рабочим, посыльным. Я работал на кожевенных заводах, на фабриках и в прачечных. Я косил траву на садовых лужайках, чистил ковры и мыл окна. И никогда не получал я

полной стоимости своего труда. Я смотрел на дочь владельца кожевенного завода, когда она ехала в коляске на резиновых шинах, и понимал, что часть моих мускулов ушла на эту коляску. Я смотрел на сына владельца фабрики, посещавшего университет, и сознавал, что часть моих мускулов уходила на то, чтобы доставить ему прекрасные книги и умное общество.

Но я не питал злобы против них. Я считал все это игрой счастья. Они были сильны. Прекрасно, — я тоже был силен. Я должен был пробить себе путь, чтобы занять место среди них и выжимать деньги из мускулов других людей. Я не боялся работы. Я любил тяжелую работу. Я намеревался отдаться весь работе и работать из всех сил, пока не сделаюсь одним из столпов общества.

На мое счастье, как раз в этот момент я отыскал одного хозяина, который был того же мнения, что и я. Я хотел работать, — он больше, чем хотел, чтобы я работал. Я думал, что буду у него учиться ремеслу. На самом же деле он заменил мною двух рабочих. Я думал, что он сделает из меня электротехника, на самом же деле он «делал» из меня пятьдесят долларов в месяц. Двое рабочих, которых я сместил, зарабатывали по сорок долларов в месяц, а я исполнял работу обоих за тридцать.

Этот хозяин заездил меня почти до смерти... Я увидел голую правду нашей сложной цивилизации. Жизнь сводилась к вопросу о пище, одежде и жилище. Чтобы получить это, люди продавали то, что имели. Купец продавал башмаки, политик продавал свое человеческое достоинство, представители народа, конечно, с редкими исключениями, продавали доверие избирателей и почти все продавали свою честь. Женщины, как на улице, так и в священном брачном союзе, должны были продавать свое тело. Все представляло собой товар, все люди покупали и продавали. Единственный товар, которым обладает рабочий человек, это—его мускулы. Честь труда не имеет цены на рынке. Рабочий имеет для продажи мускулы и только мускулы...

ШЕРШАВАЯ ЛАДОНЬ.

(Стих. Н. Тихомирова) [1]).

Расту, расту, стальные нервы
Закалены среди машин.
Я не последний и не первый
Пришел от голубых равнин.

* * *

Пришел пропахнувший лесами
И с песнями плакучих ив.
Смотрел я детскими глазами
На стянутый ремнями шкив.

* * *

Смотрел и думал молчаливо
На пляску звонких молотков,
И пряталась в душе пугливо
Семья печальных васильков.

[1]) Товарищ Н. Тихомиров — современный пролетарский поэт. Работает по сие время машинистом на одной из электрических станций Ленинграда.

* * *

Так день за днем все реже, реже
Всплывало дальнее село,
И новый мир в душе забрезжил,
Запело сердце, зацвело.

* * *

Я полюбил душой глубоко
Заводский грохот и огонь,
Насыщена железным соком
Моя шершавая ладонь.

КУПЛЯ—ПРОДАЖА РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

(Эптон Синклер: «КОРОЛЬ УГОЛЬ».)

Большинство (угольных) компаний вербовало рабочих через агентства; такой порядок имел свои дурные последствия, а именно: в течение долгого времени агентства получали часть заработной платы рабочего и действовали заодно с надсмотрщиками. Когда Хол с удивлением заметил, что это порядок совершенно беззаконный, спутник ему ответил: «Бросьте этот вздор. Когда поработаете несколько времени в угольных рудниках, тогда вы узнаете, что слово надзирателя — закон». Затем бродяга начал развивать ту мысль, что закон никакого значения не имеет, раз один предлагает работу, за которую хватаются многие...

Бродяга говорил ему, что у кабатчиков всегда есть друзья и приятели в шахтах и что они смогут посодействовать ему в получении работы. Хол принялся расспрашивать повсюду, и уже второй кабатчик вызвался снабдить его рекомендательным письмом к своему другу в Норт-Тэле (Северной долине), при условии, что если он получит работу, то этот друг ежемесячно будет удерживать с него из жалованья один доллар [1]). Хол согласился и направился вверх по другому каньону [2]), подкрепившись предварительно бутербродом с ветчиной, который удалось ему выклянчить в одной из ферм у входа в долину. Придя к другим воротам Всеобщей Топливной Компании, он предъявил свое письмо, адресованное некоему О' Коллахэну. Последний, как потом выяснилось, также содержал кабачок.

Сторож, не читая письма, впустил Хола, и он немедленно стал разыскивать нужное ему лицо. О' Каллахэн выразил готовность оказать ему содействие, но потребовал, сверх одного доллара в пользу друга Педро, еще один доллар лично для себя. С этим Хол никак не соглашался, они долго торговались; наконец, когда Хол собрался уходить, грозя донести на него главному надзирателю, трактирщик удовольствовался полудолларом.

— Вы знакомы с шахтерной работой? — спросил он.

— Я вырос в ней, — ответил Хол, уже значительно умудренный опытом.

— Где вы работали?

---

[1]) Доллар = 100 центам, в русской до-военной валюте = 1 р. 94 1/5 к.
[2]) Каньон—речная долина с очень крутыми или даже отвесными склонами.

Хол перечислил несколько рудников, о которых знал кое-что из рассказов бродяги. Себя он назвал Джо Смит, полагая, что, по всей вероятности, такое имя значится в рабочих списках большинства рудников. Выросшая за неделю борода сделала его неузнаваемым, а язык его тоже обогатился несколькими сочными, крепкими ругательствами. Трактирщик привел его к надзирателю шахты № 2, мистеру Алеку Стону, который тотчас же задал ему вопрос:

— Вы умеете обходиться с мулами?

— Я служил в конюшне, — ответил Хол, — и умею обращаться с лошадьми.

— Мулы это совсем другое дело, — сказал надзиратель. — Одного из моих конюхов недавно хватили колики, не думаю, чтобы он был еще на что-нибудь годен.

— Дайте мне попробовать! — воскликнул Хол. — Я приспособлюсь как-нибудь к этой работе.

Надзиратель осмотрел его.

— На вид вы кажетесь годным. Я плачу сорок пять в месяц; если я буду доволен вашей работой, то повышу плату до пятидесяти.

— Хорошо. Когда мне приступить к работе?

— Лучше всего сейчас же. Где ваши вещи?

— Вот все, что у меня есть, — и Хол показал на свой узел с краденым бельем, бывший у него в руках.

— Бросьте его в угол, — сказал надзиратель, затем, внезапно остановившись перед Холом, он сдвинул брови:

— Вы состоите членом какого-нибудь рабочего союза?

— О, боже мой, нет!

— И никогда не были им?

Взор надзирателя выражал уверенность в том, что Хол, мол, врет, а он, все-таки, может проникнуть в тайны его души.

— Вы должны присягнуть в этом, прежде чем приступить к работе.

— Хорошо, — сказал Хол, — я могу это сделать.

— Об этом я поговорю с вами еще завтра, сегодня при мне нет необходимых бумаг. Между прочим, каково ваше вероисповедание?

— Я — «адвентист седьмого дня».

— Господи, что это такое?

— Ничего страшного, — возразил Хол. — Собственно, я не имею права работать по субботам, однако, работаю.

— Хорошо, только не занимайтесь тут проповедями. У нас имеется наш собственный проповедник, он будет вам стоить пятьдесят центов ежемесячного вычета. А теперь давайте я вас запишу.

Так началась для Хола новая жизнь...

ДЕШЕВЫЙ ТОВАР.

(Д. Н. Мамин-Сибиряк: «БОЙЦЫ».)

Мы шли сначала по берегу Чусовой, миновали часовню, чей-то высокий деревянный дом с зеленой железной крышей и завернули за угол...

На берегу и около домов — везде попадались кучки бурлаков, с котомками и без котомок, в рваных полушубках, в заплатанных азямах и просто в лохмотьях, состав которых можно определить только химическим путем, а не при помощи глаза.

— Ишь, молодцы, только-что явились на сплав! — ругался Осип Иваныч, когда попадались бурлаки с котомками. — Ужо я вам покажу кузькину мать!..

— А что же вы им сделаете?

— Я!?.. У нас, голубчик, все это оформлено: просрочил явку на пристань — штраф; не явился на спишку барок — штраф; не пришел на нагрузку — штраф...

Дорогу нам загородила артель бурлаков с котомками. Палки в руках и грязные лапти свидетельствовали о дальней дороге. Это был какой-то совсем серый народ, с испитыми лицами, понурым взглядом и неуклюжими, тяжелыми движениями. Видно, что пришли издалека, обносились и отощали в дороге...

Большинство бурлаков, собравшихся около кабака, были каменские бурлаки и заводские мастеровые. И тех, и других отличишь сразу. Для них весенний сплав — разливное море, вечный праздник. Каменские славятся по всей Чусовой, как лучшие бурлаки, но зато и отчаяннее этих каменских не найти по всей Чусовой. Даже заводские мастеровые, тоже разбитной народ, не отличающийся особенной скромностью, далеко уступают Каменским. Каменского бурлака вы сразу узнаете, хоть будь это распоследний пропойца и забулдыга, у которого весь костюм состоит из одних заплат. Он так умеет надеть на себя свои заплаты и идет по улице с таким самодовольным видом, что сейчас видно птицу по полету. А если он раздобылся красной рубахой, дырявыми сапогами и маломальски приличным чекменем (кафтаном), он ходит по пристани гоголем и знать ничего и никого не хочет. Лихорадочная, каторжная работа на сплаву, бесконечная ленивая зима, когда бурлаку решительно нечего делать, затем водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок, и самое кромешное, беспросыпное пьянство, когда караван привалит благополучно в Пермь, все это, взятое вместе, создало совершенно особенный тип. Весенний сплав для Каменки праздников праздник, и все одеваются в самое лучшее платье и ставят последний грош ребром.

Заводские мастеровые отличаются от каменских своими запеченными в огненной работе лицами, изможденным видом и тем особенным, неуловимым шиком, с каким умеет держать себя только настоящая заводская косточка. И чекмень на нем не так сидит, и шляпа сдвинута на ухо, и ходит чорт-чортом. Впрочем, на сплав идут с заводов только самые оголтелые мастеровые, которым больше деваться некуда, а главное — нечем платить подати.

— Много у вас заводских? — спросил я Осипа Иваныча...

— Достаточно и этих подлецов... Никуда не годен человек — ну и валяй на сплав! У нас все уйдет. Нам, ведь, с них не воду пить. Нынче по заводам, с печами Сименса да разными машинами, все меньше и меньше народу нужно — вот и бредут к нам. Все же, хоть из-за хлеба на воду работает.

— А сколько вы платите бурлакам за сплав?

— Рублей восемь, десять, смотря по контрактам. У нас, ведь, круговая порука: артелями нанимаем. Один из артели не явился, вся артель в ответе.

— Да ведь таким образом при расчете на руки артели может ничего не достаться.

— Сплошь и рядом... В другой раз еще с артели следует получить, только взять-то с них нечего. А без артели — беда! Чуть запоздал сплав— все расползутся, как тараканы...

Все время, пока мы шли до конторы, за нами по пятам пробирался небольшой, взлохмаченный мужиченко, в лаптях и в широком халате,

какие носят только вятские. Он терпеливо и покорно выждал, пока Осип Иваныч ругался направо и налево, а потом как-то вяло проговорил:

— А я к твоей милости, Осип Иваныч!

Осип Иваныч быстро вскинул глазами на мужика и с каким-то отчаянием замахал руками.

— Да ты зарезать меня хочешь, мошенник! — завопил он, с бешенством накидываясь на несчастного мужика. — Ну, чего тебе от меня нужно... а?.. Ну, говори, говори, не тяни за душу!

— Вторую неделю проживаемся на пристани... — спокойно отвечал мужик, переминаясь. — Обносились, хлебушка нет... двое из артели-то в лежку лежат: огневица прихватила.

— Ну, и пусть лежат, я-то чем виноват... а?.. Я разве бог? Мне-то какая радость держать вас на пристани?..

— А я к тому говорю, што кабы артель не выворотилась в деревню...

— Ах, ббожже ммой!!. А контракт? Что у тебя в контракте сказано: «обязуюсь ждать сплава по первое число мая месяца, а свыше сего, ежели сплав затянется, назначается поденная плата, в размере...»

— Оно тошно што, оно по контракту, Осип Иваныч... и обвязались мы ждать, и насчет поденной платы... Только вот севодни Егория, а через неделю Еремея-запрягальника. Сумлеваюсь насчет артели, Осип Иваныч, как бы со сплаву не выворотилась.

— Я вот вам, подлецам, такого запрягальника пропишу, что до будущего сплава будете меня помнить! — горячился Осип Иваныч, начиная жестикулировать самым решительным образом. — «Сумлеваюсь, как бы артель не выворотилась!..» Мошенники!.. Ты — первый зажигатель и бунтовщик... понимаешь? Сейчас позову казаков, руки к лопаткам и всю шкуру выворочу наизнанку...

Река-то когда еще пройдет, а пашня не ждет, — точно вслух думал бунтовщик.

— А ты все свое долбишь! а? — грозно зарычал Осип Иваныч, бросаясь с кулаками на бунтовщика. — Если ты мне еще раз покажешь свою рожу... да я... Ну, купи, чорт ты этакой, гармонику или балалайку и наигрывай, в кабак бы зашел от скуки... Разве я запрещаю?!.

Мужик почесывался, переминался и опять начинал свою песню про Еремея-запрягальника, пашню и артель. Сцена кончилась тем, что Осип Иваныч, наконец, не вытерпел и выгнал бунтовщика из конторы в шею...

Около конторы народ попрежнему стоял стена-стеной, и попрежнему это был крестьянский люд. Выгнанный Осипом Иванычем бунтовщик был окружен целой толпой односельчан, с нетерпением ждавшей результатов ходатайства.

— Ну, чево, дядя Силантий? — спросил белобрысый молодой парень с рябым лицом.

— По контракту, говорит... — ответил дядя Силантий, почесывая за ухом...

Толпа загалдела. На ходока посыпались упреки и ругательства, но он только моргал глазами и отмахивался бессильным жестом рук.

— Ну вас к богу совсем! — проговорил Силантий, усаживаясь на приступок крыльца. — Ступайте, коли хотите, а я останусь... Тебе, Митрей, видно, охота, чтобы шкуру спустили в волости, когда со сплаву прибежишь, — заметил он, вынимая из котомки берестянный бурак.

— И пусть спущают, — горячился белобрысый парень. — Я самсемь в семье, а ежели пашню пропущу из-за вашего сплаву — все по миру пойдут... это как?

— А так... Осип Иваныч сказывает: «купи, говорит, гармонь али балалайку и наигрывай»... Ну, будет тебе, Митрей, вот садись, ужо закусим хлебушка.

Митрий, олицетворенная черноземная сила, вдруг отмяк от одного ласкового слова дяди Силантия и присел на корточки около его таинственного бурака.

— Зачерпни-кось водицы, Митрей, бурачком-то!..

Когда Митрий вернулся с водой, Силантий спустил в бурак свои сухари и долго их размешивал деревянной облизанной ложкой. Сухари, приготовленные из недопеченого, сырого хлеба, и не думали размокать, что очень огорчало обоих мужиков, пока они не стали есть свое импровизированное кушанье в его настоящем виде. Перед тем как взяться за ложки, они сняли шапки и набожно помолились в восточную сторону. Я уверен, что самая голодная собака отказалась бы есть окаменелые сухари из бурака Силантия.

— Зачем вы нанимаетесь на сплав? — спросил я Силантия.

— Нельзя, милый барин. Знамо, не по своей воле тащимся на сплав, а нужда гонит. Недород у нас... подати справляют... Ну, а где взять? А караванные приказчики уже пронюхают, где недород, и по зиме все деревни объедут. Приехали — сейчас в волость, кто подати не донес? А писарь и старшина уж ждут их, тоже свою спину берегут, и сейчас контракт... За десять-то рублев ты и должен месить сперва на пристань тыщу верст, потом сплаву обжидать, а там на барже сбежать к Перме али дальше, как подрядился по контракту.

— Ведь это для вас невыгодно?

— Какое выгодно, нож востpой нам эти сплавы, вот что. Рассуди сам: сам теперь я из дому должен выйти на сплав за шесть недель, да сплаву прождешь другой раз все две недели, да на барке бежишь до Перми четыре дня, а дальше клади еще неделю. Сколь всего-то выйдет?

— Почти два с половиной месяца...

— Так, а другой раз и все три. А деньги-то, из десяти-то рублей семь в подать пошли, рупь выдали, как пришли на сплав, а два рубля получим, когда караван привалит к Перме. На три-то месяца бурлаку рупь и приходится, а куды ты его повернешь? Теперь сколько одной лопотины [1]) в дороге проносишь, сколько обуя [2]), а пить-есть само собой... Вот Осип-то Иваныч-то даве говорит: купи гармонь али ступай в кабак, а того не думает, што у меня всю душеньку выворотило. Ночей не спишь, все про свое думаешь... За эти десять-то рублей я три месяца проболтаюсь да пашню опущу — ну, а какой я мужик без пашни? Вон Митрей-то сам-семь: вот тебе и гармонь.

— Чем же вы живете эти три месяца? Неужели на один рубль?

— На рупь, барин, на него... Пока из дому бредем, так свойской, домашней хлебушко жуешь, а на пристане свой рупь и проживешь. На верхних пристанях дают бурлакам по пуду муки, а то и по два. Говядины тоже, сказывают, дают фунтов по пяти на брата...

— Все-таки рубль на три месяца?..

— Это еще што! и рупь деньги! А ты вот посуди, какое дело: теперь мы бежим с караваном, а барка возьми да и убейся... Который потонул — того похоронят на бережку, а каково тем, кто жив-то останется? Расчету никакого, котомки потонули, а ты и ступай месить свою тысячу верст с пустым брюхом... Вот где нашему брату беда бедовенная!..

---

[1]) Лопотина—верхняя одежда, вообще платье.

[2]) Обуй — обувь.

БЮДЖЕТ РАБОЧЕГО.

(Эптон Синклер: «КОРОЛЬ УГОЛЬ».)

Смотритель шахты, в которой работал Хол, посоветовал ему поселиться у некоего Реминицкого. Когда он с последней бадьей покинул шахту, ему указали на тускло освещенное железное здание. Хозяин, толстый русский, объяснил, что за двадцать семь долларов в месяц он может получить у него еду и койку в комнате, уже населенной восемью рабочими. Расходы Хола представлялись теперь в таком виде: кроме платы за квартиру, полтора доллара шли кабатчику [1]), пятьдесят центов в пользу священника при шахте, доллар в пользу врача, пятьдесят центов за пользование баней, пятьдесят центов за страхование на случай болезни или несчастных случаев. Итого оставалось от месячного жалования ровно четырнадцать долларов. На эти четырнадцать долларов ему предоставлялось справить себе одежду, обзавестись семьей, лакомиться пивом и табаком и посещать филантропические [2]) заведения шахтовладельцев — школы и библиотеки.

Уже кончали ужинать, когда он пришел к Реминицкому. Пол имел такой вид, как будто там происходил пикник людоедов. Оставшееся кушанье было холодно, как лед. Столовая этого заведения, принадлежавшего Всеобщей Топливной Компании, напоминала Холу государственную тюрьму, которую он когда-то посетил. Там молча стояли, выстроившись длинными рядами, люди и ели из оловянных мисок какую-то похлебку с жиром. Здесь, правда, посуда состояла из необычайно толстых фарфоровых тарелок, но похлебка и жир были те же. У повара Реминицкого существовал, повидимому, такой чудодейственный рецепт: «если тебе не ясно, как надо приготовить кушанье, прибавь жиру и жарь»...

Заведение Реминицкого давало Холу койку и достаточное количество насекомых, одеял, однако, не полагалось, а между тем обойтись без одеяла в этом горном районе было совершенно невозможно. Ему пришлось после ужина направиться к надзирателю, чтобы исхлопотать себе кредит в заводской лавке Компании. Кое-какой кредит ему предоставили, тем более, что главному инспектору этим самым облегчалась возможность лишить Хола права свободного ухода с работ. Разумеется, не существовало такого закона, по которому его могли задерживать за долги — но Хол уже отлично знал по собственному опыту, как мало значения придает закону какой-нибудь начальник горного производства...

В РАБОЧЕЙ КАЗАРМЕ.

(А. Грушецкий: «УГЛЕКОПЫ».)

Квартиры рабочих помещались в каменных трехэтажных казармах, без штукатурки, без отделки; кругом них не было даже признаков какой бы то ни было растительности; они носили на себе неизгладимую печать частой смены жильцов и красноречиво свидетельствовали об их тяжелой мрачной жизни, с неизвестным будущим, об их постоянном страхе перед возможностью каждую минуту быть выброшенными из насиженных мест, чтобы начать новые поиски тяжелого заработка.

---

[1]) См. отрывок: «Купля — продажа рабочей силы» Синклера.
[2]) Филантропические — благотворительные.

Окна рабочих квартир смотрели на мутную желтую воду в канаве, на черную, грязную дорогу: их было по шестнадцати в первом и втором этаже и шесть в мансарде. В каждой казарме помещалось обыкновенно 38 семейств. Количество жильцов, разумеется, очень часто менялось: одни умирали, другие родились, те женили сына, другие брали зятя, а более бедные принимали к себе квартирантов.

В одну из таких казарм вошли углекопы 26-го номера...

Товарищи стали подыматься по узкой, крутой деревянной лестнице на первый этаж. Наверху, в коридоре, валялся неубранный сор, картофельная шелуха, куриные перья, у стены стоял большой запертый сундук из неотесанных досок. Викентий постучал в дверь, на которой виднелся 18-й номер, и, не дожидаясь ответа, вошел с обычным приветствием:

— Бог на помощь!

По середине комнаты стояла немолодая женщина, с горшком в руке, в открытой рубахе и ситцевой юбке, с растрепанными волосами.

При виде посторонних людей она вскрикнула пискливым голосом и скрылась в двери направо, против окна. Двое старших полуодетых ребятишек, еле сдерживаясь от плача, сунули головы под подушку, и самый младший — двухлетний с ревом подполз под кровать.

Три углекопа стояли посередине, осматривая комнату, освещенную единственным окном, выходившим во двор. В углу, налево от входной двери, стояла английская печь, на которой теперь готовилось кушанье. Против окна у стены стояла широкая скамья, служившая постелью; дальше за скамьей была дверь в другую комнату. Против входной двери у стены стояли две огромных кровати, между ними помещался белый сосновый шкап со стеклянными дверцами вверху, через которые виднелись на полках тарелки, блюдечки, стаканы, кубки. На стенах висела целая коллекция картин и образов в темных рамках, самых разнообразных размеров. В красном углу висел образ святой Варвары, заступницы и покровительницы углекопов. В комнате царил полнейший беспорядок: постели стояли неубранными, все было покрыто пылью, на столе валялись остатки вчерашнего ужина, слышался приторный запах цикория, удушливые испарения тела и грязной сырости.

Вскоре вошла сама хозяйка... Она с дружеской улыбкой обратилась к углекопам:

— Садитесь, Викентий... Что же это Адама так долго не видно?

Углекопы молчали, опустив голову и теребя свои засаленные шапки.

— Пресвятая дева, чего вы так смотрите?!! Войцех, говори хоть ты... Ах, я несчастная! что же вы онемели все, что ли? — закричала она со слезами на глазах.

Викентий серьезно посмотрел на нее и тихо сказал:

— Успокойтесь, ничего особенного не случилось, только вашего мужа...

— Войцех, говори правду, — жив он или нет?

— Фельдшер взял его живым и увез в больницу.

— В больницу! — с ужасом воскликнула она и снова заголосила.

В эту минуту приблизилась старшая дочь и, успокоив детей, обратилась к Войцеху:

— Скажи по правде, что случилось с отцом?

— Свод обвалился в забое и ему расшибло голову и бок...

— Ах, я сирота несчастная!.. — простонала мать.

— Руки и ноги... — добавил Викентий.

На плач появились соседки, жившие в том же коридоре. Не столько узнав, сколько догадавшись о происшедшем, они сами начали плакать и давать разные советы.

— Тише! — прикрикнул на них Викентий, потеряв терпение.—Адаму еще следует получить за шесть дней работы, а там касса взаимопомощи поможет, квартирантов возьмете... глядишь, как-нибудь и перебьетесь...

— Господи, господи! Из этих денег нужно и долг уплатить, и в лавку отдать, и в трактире не уплачено; откуда же мне взять столько, — жаловалась хозяйка.

— Старшую дочь отдайте в сортировочную, — советовал Викентий,— все-таки что-нибудь заработает, да и квартиранты найдутся...

— Как можно, чтобы она с углем возилась! — возмутилась мать. — Она шьет на машине и на себя зарабатывает. Вы бы дали мне лучше квартиранта.

— Есть и квартирант, — сказал углекоп Пакош, выступая вперед.

— За кровать с постелью два рубля, ни больше, ни меньше — это уж у нас цена известная; что же касается содержания, то об этом мы еще поговорим.

— Где же эта кровать?

— А вот перед вами, первая от окна.

— А кто на ней спал?

— Шлепер [1]) с дневной смены. У вас ведь ночная?

[1]) Шлеперы — вспомогательные рабочие на руднике (вагонщики, нагрузчики и др.).

II

ПРОИЗВОДСТВО ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

ПРИБАВОЧНЫЙ ТРУД [1]).

(М. Е. Салтыков-Щедрин. «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА».)

Июль в начале. Солнце еще чуть-чуть начинает показываться одним краешком; скучившиеся на восточной окраине горизонта янтарные облака так и рдеют. За ночь выпала обильная роса и улила траву; весь луг кажется усеянным огненными искрами; на дворе свежо, почти холодно; ядреный утренний воздух напоен запахом увлажненных листьев березы, зацветающей липы и скошенного сена.

Часы показывают три, но Арсений Потапыч Пустотелов уже на ногах. С деревни до слуха его доносятся звуки отбиваемых кос, и он спешит в поле...

Пустотеловы — небогатые помещики. У мужа в наших местах восемьдесят душ крестьян, которых он без отдыха томит на барщине; у жены — где-то далеко запропастилась деревушка душ около двадцати, которые обложены сильным оброком и нищенствуют... Усадьба Пустотеловых, Последовка, находится в самом, как говорится, медвежьем углу нашего захолустья.

Саженях в ста от усадьбы, как на ладони, виднеется деревнюшка, а за нею тянутся поля, расположенные по далеко раскинувшейся и совершенно ровной плоскости. На самом краю плоскости виднеется небольшой лес, который Арсений Потапыч бережет как зеницу ока. Земли у него довольно; поэтому он постепенно увеличивает запашку, и теперь довел ее до шестидесяти десятин в каждом поле. При восьмидесяти душах он, конечно, не мог бы сладить с такой запашкой, но, по счастью, верстах в пяти находится большое и малоземельное экономическое село [2]). Раза четыре в лето сзывает он помочи—преимущественно жней—варит брагу, печет пироги и при содействии трехсот-четырехсот баб успевает в три-четыре праздничных дня сделать столько работы, сколько одна барщина и в две недели не смогла бы сработать. Благодаря этому жнитво у него всегда кончается во-время, и зерно не утекает...

Покуда Арсений Потапыч дошел до деревни, последняя уж опустела. Бабы, которым еще нечего делать на барской работе, погнали в стадо коров; мужики — ушли поголовно на барщину. Почти у самой околицы около сорока косцов (Пустотелову на этот счет удача: мужички тяглятся

---

[1]) Для выяснения понятия прибавочного труда умышленно приводим классический отрывок о барщине из Салтыкова-Щедрина, «потому что прибавочный труд при барщинном труде обладает самостоятельной, чувственно-воспринимаемой формой» (Маркс. «Капитал», т. I, глава 8-я).

[2]) Экономические крестьяне — бывшие монастырские, попавшие в заведывание коллегии экономии духовных имений, откуда и название таких крестьян.

исправно, голова на голову) обкашивают довольно большой луг, считающийся лучшим в целом имении. Значительная часть его скошена еще вчера, остальную предстоит докосить сегодня. Луг еще влажный, и работа идет споро; косы быстро, в такт, мелькают в воздухе, издавая резкий свист. Трава нынче выросла хорошая; густые и плотные валы ложатся один возле другого, радуя сердце образцового хозяина. Он подходит то к одному, то к другому валу, перевернет палкой и посмотрит, чисто ли скошено. нет ли махров. Ничего, кажется, все исправно.

— Чище косите! Чище! Чтобы не было ни махров, ни огрехов! Всякий огрех на спине! — кричит он вслед косцам.

Затем он укладывает кошнушку скошенной травы, постилает сверху обрывок старой клеенки и садится, закуривая коротенькую трубочку. Курит он самый простой табак, какие-то корешки: не раз закаивался и эту роскошь бросить, но привычка взяла свое, да при том же трубка и пользу приносит, не дает ему задремать. Попыхивает он из трубочки, а глазами далеко впереди видит. Вот Митрошка словно бы заминаться стал, а Лукашка так и вовсе попусту косой машет. Вскакивает Арсений Потапыч и бежит.

Как у образцового хозяина, у него все приведено в систему. За первую вину — пять ударов нагайкой, за вторую — десять, за третью — пятнадцать, а за четвертую — не прогневайся, счета не полагается.

Раздается крик, и через минуту все приходит в порядок...

Покуда он отдыхает, и на лугу царит глубокий сон. Надобно сказать, что в имении Пустотелова заведен такой порядок, что крестьянам разрешается топить печи только по воскресеньям. Распоряжение это сделано под предлогом устранения пожарных случаев, но, в сущности, для того, чтобы ни одной минуты барской работы, даже для приготовления пищи, не пропадало, так как и мужики и бабы всю неделю, за исключением праздников, ходят на барщину. Поэтому крестьяне горячей пищей пользуются только по праздникам, а в будни довольствуются исключительно тюрей из черного хлеба, размоченного в воде.

Вообще заведенные Арсением Потаповичем порядки крайне суровы. Он всецело овладел рабом в свою пользу и дает ему управляться у себя лишь урывками. По праздникам (а в будни только по ночам) мужики и бабы вольны управляться у себя, а затем, пока тягловые рабочие томятся на барщине, мальчики и девочки работают дома легкую работу: сушат сено, вяжут снопы и проч. Почти нет той минуты в сутках, чтобы в последовских полях не кипела работа; три часа в течение дня и немногим более в течение ночи—вот все, что остается крестьянину для отдыха. Но, сверх того, Пустотелов и прихотлив. Он требует, чтоб мужичок выходил на барщину в чистой рубашке, чтоб дома у него все было как следует, и хлеба доставало до нового, чтоб рабочий скот и инструмент были исправные, чтоб он, по крайней мере через каждые две недели посещал храм божий (приход за четыре версты) и смотрел бы весело. Он желает, чтобы про него говорили, что он не только образцовый хозяин, но и попечительный распорядитель.

В три часа Арсений Потапыч опять на своем посту. Рабочие и на этот раз упредили его, так что ему остается только признать, что заведенная им дисциплина принесла надлежащий плод. Он ходит взад и вперед по разбросанному сену и удостоверяется, что оно уже достаточно провяло, и завтра, пожалуй, можно будет приступить к уборке. Подходит к косцам, с удовольствием видит, что к концу вечера и луг будет совсем выкошен.

— Старайся, братцы, старайся! — поощряет он мужичков, — ежели раньше выкосите — домой отпущу!

Жар помаленьку спадает; косцы, в виду барского посула, удваивают усилия, а около шести часов и бабы начинают сгребать сено в копнушки. Еще немного, и весь луг усеется с одной стороны валами, с другой — небольшими копнами. Пустотелов уселся на старом месте и на этот раз позволяет себе настоящим образом вздремнуть; но около семи часов его будит голос:

— Готово, Арсений Потапыч!

Луг выкошен окончательно; сено тоже сгребено в копны; сердце образцового хозяина радуется.

— Спасибо, молодцы! — произносит он благосклонно. — Теперь можете свою работу работать!

— Уж и трава нынче уродилась — из годов вон! — хвалят мужички.

— Да, хороша трава; дал бы только бог высушить да убрать без помех!

Он обращает глаза к западу и внимательно смотрит, как садится солнышко. Словно бы на самом краешке горизонта тучка показывается... или это только так кажется!

— Смотри, ребята, как бы солнышко в тучку не село! — беспокоится он.

— Помилуйте, Арсений Потапыч! как есть чисто садится! Самый завтра настоящий день для сушки будет.

— Ну, спасибо! расходись по домам!

По уходе крестьян образцовый хозяин с четверть часа ходит по лугу и удостоверяется, все ли исправно. Встречаются по местам небольшие махры, но вообще луг скошен отлично. Наконец, он, вяло опираясь на палку, направляется домой, проходя мимо деревни. Но она уже опустела; крестьяне отужинали и исчезли на свой сенокос...

Крестьянская реформа застала Пустотелова, как и большинство помещиков нашего захолустья, врасплох...

Пустотеловы заперлись в Последовке и сами никуда не ездили, и к себе не принимали. В скором времени Арсений Потапыч и хозяйство запустил; пошел слух, что он серьезно стал попивать.

— Вот он, образцовый-то хозяин, — говорили о нем соседи. — И все мы образцовые были, покуда свои мужички задаром работали, а вот, поди-ка, теперь похозяйничай!

В 1865 году мне пришлось побывать в нашем захолустье. В один из небольших церковных праздников отправился я к обедне в тот самый приход, к которому принадлежали и Пустотеловы. Церковь была совершенно пуста; кроме церковного причта да старосты, я заметил только двух богомольцев, стоявших на небольшом возвышении, обтянутом потемневшим и продырявленным красным сукном. То были старики Пустотеловы.

После обедни я подошел к ним и удивился перемене, которая произошла в Арсении Потапыче в какие-нибудь два-три года. Правая нога почти совсем отнялась, так что Филанида Протасьевна вынуждена была беспрестанно поддерживать его за локоть; язык заплетался, глаза смотрели мутно, слух притупился. Несмотря на то, что день только-что начался, от него уже слышался запах водки.

— Арсений Потапыч! Филанида Протасьевна! наконец-то случай нас свел! — приветствовал я знакомых.

Филанида Протасьевна, увидевшись со мной, молча указала на мужа и заплакала; но он, повидимому, не узнал меня. Неподвижно уставив вперед мутные глаза, он, казалось, вглядывался в какой-то призрак, который ежеминутно угнетал его мысль.

— Арсюша! старый знакомый с тобой говорит! — крикнула ему в ухо жена.

Он медленно повернул голову в мою сторону и чуть слышно, косноязычным языком пролепетал:

— Уми-рать...

ХОЗЯИН.

(Стих. Демьяна Бедного.)

Заводчик с книжечкой застал однажды внука:
— «А ну-ка, мпленький, а ну-ка,
Что говорит твоя хваленая наука?»
— «Да вот... рассказ про паука».
— «Паук?.. Ну, что же он, к примеру?»
— «Вишь, сам — он мал, а ест не в меру.
Добро, что нет средь пауков
В рост человечий великанов:
Такой паук бы съел в день дюжину быков
И дюжину баранов».
— «Ух! — захлебнулся старичок —
Ай, божья тварь! А, паучок!
Приноровился б, чай, подлец, да наловчился,
Уж то-то бы... хозяин получился».

РАДИ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ.

(Д. Н. Мамин-Сибиряк: «САМОРОДОК».)

... Знаете ли вы, что происходит, когда останавливается паровая машина, водяное колесо перестает вертеться, и тысячи колес, валов и шестерен [1]) безмолвствуют? Недавний трудовой гул громадной производительной силы сменяется мертвой тишиной, похолодевшие горны печей смотрят раскрытой черной пастью, бесконечные приводы бессильно висят на своих местах, как тяжелая паутина спрятавшегося гиганта-паука, и вас охватывает ужас смерти именно здесь, под этими высокими, закоптелыми сводами, где даже камни вздрагивали от грузной работы машин, а веселое пламя вырывалось из горнов снопами ослепительных искр, и темными клубами день и ночь валил черный дым из заводских высоких труб. Такую именно картину смерти представлял собою Максунский завод, в котором оставался живым всего один уголок, где дымились две старинных доменных печи. Иссякшая жизнь едва теплилась, и ночью, при фантастических сполохах пламени, вырывавшегося красными языками из решетчатых железных башенок над жерлом печей, стоявшая молча фабрика походила на громадного покойника, лежавшего в железном гробу всеми своими железными членами.

Все ждали приезда нового главного управляющего, который должен был поправить ошибки всех предшествовавших ему заводских администраторов, обновить все заводское дело и, вообще, из ничего сотворить мир...

Округ Максунских заводов, выражаясь красноречиво, в короне Урала является лучшим камнем. Полмиллиона десятин земли через край наполнены всякими богатствами, а потому этот округ прошел через все стадии, показанные выше. В результате получилось то, что дача Максунских

[1]) Шестерня — зубчатое колесо.

заводов представляла собой печальную пустыню. Заводы все падали и падали. Двадцатитысячное горнозаводское население испивало горькую чашу там, где могли припеваючи жить сотни тысяч. На десятки верст шла совсем пустая земля, и только в четырех заводах ютилось созданное еще крепостным правом жительство. Да и те жили только потому, что некуда было итти. Целый ряд «самородков» довел дело до невозможного положения, а число наследников все росло и дошло, наконец, до парадной цифры 101. Конечно, все эти 101 наследник требовали дивидендов [1]), и, чтобы общие интересы процветали, было назначено три главных управляющих. Если два медведя не уживаются в одной берлоге, то три главных управляющих и подавно. Они ссорились, интриговали, подводили друг друга и кончили тем, что всех их прогнали, а заводское действие было приостановлено. Прижатые к стене наследники наконец согласились на одном главном управляющем, которому назначено было жалованье всех бывших до него трех, да еще сделана прибавка, потому что положение заводов было признано всеми отчаянным...

Он приехал ночью, приехал в такой момент, когда его меньше всего ждали...

Утром Шулятников проснулся чем свет, и, на-ходу выпив стакан чаю, отправился на фабрику. День стоял серенький и дождливый. С гор тянуло осенним холодком. Накопившаяся за лето в пруде вода глухо бурлила у шлюзов и около водяных ларей. Неремонтированная фабрика выглядела очень неказисто: стены облупились, крыши проржавели, везде желтели полосы дождевых потоков и ямы от выкрошившегося кирпича. Одни доменные печи имели живой вид. По лицам доменных рабочих и доменного надзирателя Шулятников видел, что его уже ждали здесь. Это заставило его поторопиться. Обежав наскоро фабрику, он зашел в контору, где и нашел всех служащих в полном составе...

Повалил клубами черный дым из заводских железных труб, загромыхали машины, засверкал в горнах веселый огонь, и железный мертвец проснулся. Привычные к огненной тяжелой работе мастерки стали по своим местам, где работали еще отцы и деды. Тяжело повернулось главное водяное колесо, завертелся тысячепудовый маховик, и с лязгом и шипеньем начали свою работу чугунные валы, шестерни и бесконечные ремни...

Рабочие почувствовали от нового управляющего с первых же шагов большую прижимку. И работу на час увеличил в сутки, и придираться стал на каждом шагу, и очень уж ругаться лют. Так и норовит в зубы заехать... Первый обжимочный мастер, ворочавший под молотом десятипудовые крицы [2]), не понравился Шулятникову и был уволен. В листокатальной, в механической, в пудлинговой [3])—везде нашлись неполадки. Оказались лишними дровосушки, помощник машиниста, два дозорных, лошади, голуби и т. д.

Прежде деньги выдавались выписками, через две недели, а теперь стали выдавать помесячно, как жалованье служащим. Но со всем этим можно было помириться: новая метла чисто метет. А скверно было то, что Шулятников всем сбавил работу наполовину.

Таким образом количество рабочих оставалось на фабрике то же, а заработок вдвое меньше. Сокращая работы, заводы должны, по «Гор-

---

[1]) Дивиденд—годовая прибыль, приходящаяся на долю участников в предприятии соразмерно внесенному капиталу.

[2]) Крица—глыба железа или стали, получаемая при выработке из чугуна и еще не очищенная от примесей.

[3]) Пудлингование—способ переработки чугуна в железо путем выжигания из него угля в особых печах—пудлинговых.

ному уставу», доставлять рабочим какое-нибудь другое занятие, а Шулятников ловко обошел закон своей половинной работой. Количество рабочих на заводе оставалось то же, значит, чего же еще требовать от заводоуправления?

Тяжело пришлось всем подрядчикам и разным поставщикам, а всех тяжелее углежогам. Шулятников предложил углепоставщикам такие невозможные условия, что хоть сейчас в петлю. Сразу забастовали две деревни, жившие поставкой дров и угля целых сто лет. Шулятников был неумолим...

Дела у Максунских заводов сразу пошли в гору, — так, по крайней мере, думал Шулятников: идея торжествовала. Вместо старых служащих, набраны были новые, жалованье у мелкой сошки было доведено до невозможного минимума, а сошке большой получились прибавки и новые льготы. Помешавшийся на воровстве местных заводских служащих, Шулятников теперь успокоился: застаревшее зло было вырвано с корнем. Много сбережений получилось от прекращения таких непроизводительных расходов, как пенсии, детский приют, школа и т. д. Урезали содержание больницы, расходы на аптеку, жалованье доктору, разные пособия и вспомоществования...

Во всем, что касалось нового порядка заводской администрации, урезок и сокращений, дело шло, как по маслу. Сокращения не кричали и не плакали. Но центр тяжести был не тут. Стихийные деятели слагаются из ничтожных сил, а в данном случае приходилось упорядочивать сложную массу рабочих. С ними именно у Шулятникова и не клеилось дело. Эти глупые люди не хотели знать никаких принципов и лезли с жалобами к разному начальству. Больше всего не любил новатор, когда на двор господского дома заявлялась целая толпа с какой-нибудь просьбой и непременно добивалась видеть «самого». Раза два его выждали такие просители где-то на улице и наговорили дерзостей. Это было уж слишком, и Шулятников тоже обратился за содействием к соответствующей власти. На базаре, у волости и около кабаков собирались толпы недовольных и подолгу галдели...

Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы останутся без дров и угля.

Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными углежогами и посторонними рабочими.

Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.

Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла к своему делу, что ей трудно было бы с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову...

Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.

Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей...

По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться...

— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.

— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы... Это еще первая партия, а за ней двинутся другие...

Через год половина рабочих выселилась из Максунского завода. Шли, куда глаза глядят. А Шулятников продолжал выдерживать свой принцип...

ФАБРИЧНЫЙ ШУМ.

(Стих. М. Артамонова.)

Зеленый шум, весенний шум.
Н. А. Некрасов.

Фабричный шум, гигантский шум!
Как много он наводит дум
О прожитых былых годах,
В душе рождая смутный страх!

Сошлись мы двое полных сил —
Она да я. Я полюбил.
Бывало, в сумраке ночном,
Придя из корпуса вдвоем,
Из бедных хижин, серой тьмы,
Гулять на свет ходили мы,
С одной мечтой, без серых дум,
Лишь рокотал за далью шум!..

Станок шумел и грохотал,
В полотна нитки превращал...
И я смотрел за часом час,
Чтоб нитка где не порвалась,
Чтобы с засечкой не наткать,
В конторе штрафа не принять;
Смотрел, и мускульной рукой
Станок привертывая свой,
Основу связывал, справлял...
В тот миг станок не грохотал.
И на рычаг опять без дум
Я налегал. Фабричный шум!

Снуют все желтые вокруг:
То голод-царь, то спертый дух,
То пыль полотен, словно дым,
Висит налетом голубым.
И всюду, серый, как земля,

Рабочий люд у миткаля
Под адский свист, машинный вой
Стоит с понурой головой,
Голодный, желтый и угрюм...
Фабричный шум, заводский шум!
Гремят станки, вертится вал...
Здесь голод царство основал.

...Но ты вдали, одна, одна!..
Как тень, как призрак, чуть видна,
Дневным лучом озарена,
Стоишь с работой у окна,
А дальше — горы полотна...
О! Как хотелось бы с тобой
Под этот адский свист и вой
Стоять вдвоем, одним, вдвоем,
Где пряжу ткем, где вечно ткем.
Где из железных лап машин
Мильоны сотканных аршин
Бегут, прозрачны и белы,
И льются с шумом на валы.

Ткачи, ткачи! Рабочий люд!
Все, с чем родились — с тем умрут
Под черным игом бедноты,
Всю жизнь работая холсты...
И носит их совсем не тот,
Который год за годом ткет —
Голодный, желтый и угрюм...
Фабричный шум, машинный шум!

По лицам хмурым бродит тень...
Ткачи! придет весенний день,
И эхо бодрых голосов
Под своды душных корпусов
К вам долетит, вас будет звать —
Основу новой жизни ткать!..

ГРАНИЦЫ РАБОЧЕГО ДНЯ.

(К. Маркс: «КАПИТАЛ», т. I.)

Капиталист купил рабочую силу по ее дневной стоимости. Ему принадлежит ее потребительная стоимость в продолжение одного рабочего дня. Он получил таким образом право заставить рабочего работать на себя в продолжение одного рабочего дня. Но что такое рабочий день? Во всяком случае это нечто меньшее, чем естественный день жизни. На сколько? У капиталиста свой собственный взгляд на это «ultima Thule», на необходимую границу рабочего дня. Как капиталист, он представляет собою лишь персонифицированный (олицетворенный) капитал. Его душа — душа капитала. Но у капитала одно единственное жизненное стремление, — стремление увеличивать свою стоимость, создать прибавочную стоимость, впитать своей постоянной частью, средствами производства, возможно большее количество прибавочного труда. Капитал есть мертвый труд,

который, подобно вампиру, оживает лишь вследствие всасывания живого труда и живет тем дольше, чем больше поглощает живого труда. Время, в продолжение которого рабочий работает, есть то время, в продолжение которого капиталист потребляет купленную им рабочую силу. Если рабочий потребляет находящееся в распоряжении последнего время на самого себя, то он обкрадывает капиталиста.

Итак, капиталист ссылается на закон товарного обмена. Как и всякий другой покупатель, он старается выручить возможно бóльшую пользу из потребительной стоимости своего товара. Но вдруг раздается голос рабочего, которого до сих пор заглушал шум и грохот процесса производства.

Товар, который я тебе продал, отличается от остальной товарной черни тем, что потребление его создает стоимость, и притом бóльшую, чем стóит он сам. Потому-то ты и купил его. То, что для тебя является увеличением стоимости капитала, для меня есть излишняя трата рабочей силы. Мы с тобой знаем на рынке лишь один закон: закон обмена товаров. Потребление товара принадлежит не продавцу, который отчуждает товар, а покупателю, который приобретает его. Поэтому тебе принадлежит потребление моей дневной рабочей силы. Но при помощи той цены, за которую я каждый день продаю ее, я должен ежедневно воспроизводить ее, чтобы потом снова ее продать. Не говоря уже о естественном снашивании вследствие старости и т. д., у меня должна быть возможность работать завтра при том же нормальном состоянии силы, здоровья и свежести, как сегодня. Ты постоянно проповедуешь мне евангелие «бережливости» и «воздержания». Хорошо! Я хочу подобно разумному, бережливому хозяину сохранить свое единственное достояние, рабочую силу, и воздерживаться от всякой безумной растраты ее. Я буду ежедневно приводить ее в текучее состояние, превращать в движение, в труд лишь в той мере, в какой это не вредит нормальной продолжительности ее существования и ее нормальному развитию. Безмерным удлинением рабочего дня ты можешь в один день привести в движение большее количество моей рабочей силы, чем я мог бы восстановить в три дня... Ты оплачиваешь мне однодневную рабочую силу, хотя потребляешь трехдневную. Это противно нашему договору и закону товарного обмена. Итак, я требую рабочего дня нормальной продолжительности и требую его, взывая не к твоему сердцу, так как в денежных делах конец всякому благодушию. Ты можешь быть образцовым гражданином, быть может, членом общества покровительства животным и вдобавок пользоваться репутацией святости, но у той вещи, которую ты представляешь по отношению ко мне, нет сердца в груди. Если кажется, что в ней что-то бьется, так это просто биение моего собственного сердца. Я требую нормального рабочего дня, потому что, как всякий другой продавец, я требую стоимости моего товара...

РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

(А. С. Фролов: «ПРОБУЖДЕНИЕ» [1]).

Почему,—не знаю, но мне с детства хотелось быть рабочим, и непременно слесарем. Когда я окончил начальную школу, и отец предложил поступить в городскую и продолжать образование, я наотрез отказался, заявив, что хочу быть только рабочим...

---

[1]) «Записки рядового рабочего». Харьков, Госиздат. 1923 г.

В те поры работали на фабрике без ограничения времени. Кто как хотел.

Работали так: с часу ночи до семи утра, с семи до восьми пили чай в трактире, в двенадцать шли обедать и с двух до семи вечера работали не отрываясь.

Исключением были два дня в неделе: суббота и понедельник.

В субботу, к десяти часам утра, рабочие едва держались на ногах от усталости. В мастерской не было уже слышно ни смеха, ни шуток, ни разговора. Все были точно прибиты к тискам и угрюмо «гнали», — спешили доделывать работу, чтобы итти в контору подсчитываться. Никому не хотелось кончить свою работу после других, ибо отставший задерживал получку и подвергался насмешкам.

— Что, дурной, пропьянствовал, а теперь «наводить» вздумал?

К двум часам дня в мастерской было уже выметено, вычищено и прибрано. Отделавшие работу свою рабочие сидели на верстаках и подсчитывали в уме, кто сколько заработал, сколько придется получить и кто кому сколько должен. У каждого за неделю скоплялось много долгов...

В те поры на маленьких фабриках не было расчетных книжек. И хозяин, и рабочие держали все на памяти или записывали на стене мелком.

В субботу рабочий начинал ломать голову, кому что надо заплатить и сколько с хозяина получить.

По подсчету всегда выходило, что рубля два домой попадет. А как хозяин начнет подсчитывать, еще из дома надо рубля три приносить.

Такие рабочие в субботу же напивались в долг пьяными и, идя по улице, пели:

«Я с хозяином расчелся, ничего мне не пришлось».

ПЕСНЯ О РУБАШКЕ.

(Томас Гуд.)

Затекшие пальцы болят,
И веки болят на опухших глазах...
Швея в своем жалком отрепье сидит
С шитьем и иголкой в руках...

Шьет, шьет, шьет,
В грязи, в нищете, голодна,
И жалобно горькую песню поет,
Поет о рубашке она.

«Работай! работай! работай,
Едва петухи прокричат!
Работай! работай! работай,
Хоть звезды сквозь кровлю глядят!

«Ах, лучше бы мне пропадать
В неволе у злых басурман!
Там нечего женщине душу спасать,
Как надо у нас, христиан.

«Работай! работай! работай,
Пока не сожмет головы, как в тисках!
Работай! работай! работай,
Пока не померкнет в глазах!

«Строчку, ластовку, ворот, —
Ворот, ластовку, строчку...
Повалит ли сон над шитьем, — и во сне
Строчишь все да рубишь сорочку.

«О, братья любимых сестер!
Опора любимых супруг, матерей!
Не холст на рубашках вы носите, — нет,
А жизнь безотрадную швей.

«Шей! шей! шей!
В грязи, в нищете, голодна,
Рубашку и саван одною иглой
Я шью из того ж полотна!

«Но что мне до смерти? Ее не боюсь,
И сердце не дрогнет мое,
Хоть тотчас костлявая гостья приди:
Я стала похожа сама на нее...

«Похожа от голода я на нее,
Здоровье не явится вновь.
О, боже! зачем это дорог так хлеб,
Так дешевы тело и кровь?

«Работай! работай! работай,
Мой труд бесконечный жесток,
А плата — отрепье, солома в углу
Да черствого хлеба кусок,

«Скамейка да стол, голый пол,
Убогая кровля сквозится...
И то любо мне, как на серой стене
Порой моя тень отразится...

«Работай! работай! работай,
Когда леденеет в окошке стекло!
Работай! работай! работай,
Когда и светло, и тепло,

«И ласточки, к выступам кровли лепясь,
Щебечут в сиянии дня,
И кажут мне яркие спинки свои
И дразнят весною меня.

«О, только бы раз подышать
Дыханьем лугов, полевыми цветами!
Вверху — только небо одно,
Трава и цветы под ногами!..

«О, только бы час лишь прожить
Блаженством младенческих лет,
Когда я не знала, что буду ценить
Дороже прогулки обед!

«О, только бы час лишь один!
Лишь миг!.. Чтоб душа ожила...
Любовь и надежда, и мига вам нет!
Все время печаль отняла!

«Поплакать бы,—легче бы сердцу от слез...
Нет, слезы мои, не теките!
Иголке моей не мешайте вы шить,
Шитья моего не мочите!»

Затекшие пальцы болят,
И веки болят на опухших глазах...
Швея в своем жалком отрепье сидит
С шитьем и иголкой в руках...

Шьет, шьет, шьет,
В грязи, в нищете, голодна,
И жалобно горькую песню поет...
Иль песня та к вам, богачи, не дойдет?..
Поет о рубашке она...

БЕЛЫЕ РАБЫ.

(К. Маркс: «КАПИТАЛ», том I.)

В последнюю неделю 1863 года все лондонские газеты поместили заметку под «сенсационным» заглавием. «Смерть исключительно от чрезмерной работы». Дело шло о смерти двадцатилетней модистки Мэри-Анны Уокли, работавшей в весьма почтенной придворной модной мастерской, которую эксплоатировала одна дама с симпатичным именем Элиза. Здесь вновь раскрылась старая, часто повторяющаяся история о том, как эти девушки работают в среднем по $16^1/_2$ часов в сутки, а в сезон часто бывают заняты 30 часов без перерыва, при чем изменяющая им «рабочая сила» поддерживается время от времени приемами хереса, портвейна и кофе. Был как раз разгар сезона. Предстояло приготовить благородным лэди роскошные наряды для бала в честь только что импортированной принцессы Уэльсской. Мэри-Анна Уокли проработала без перерыва $26^1/_2$ часов вместе с 60 другими девушками, по 30 человек в комнате, едва ли дававшей $^1/_3$ необходимого кубического содержания воздуха, при чем спать им приходилось по две на одной постели в одной из тех вонючих конур, в которых спальня отгораживается посредством дощатых переборок. И это была одна из лучших модных мастерских Лондона. Мэри-Анна Уокли заболела в пятницу, а умерла в воскресенье, не потрудившись даже, к великому изумлению госпожи Элизы, закончить последнее бальное платье. Врач, господин Рейс, призванный слишком поздно к ее смертному одру, в следующих сухих выражениях давал показания перед коронным судом: «Мэри-Анна Уокли умерла вследствие чрезмерно про-

должительного труда в переполненной мастерской и вследствие того, что она спала в слишком тесной, плохо вентилированной спальне...»

«Зарабатываться до смерти — вот что стоит на очереди дня не только в модных мастерских, но в тысячах мест, вернее, во всяком месте, где дела идут хорошо... Да будет нам позволено привести в пример кузнеца. Если верить поэтам, то нет на свете более сильного, жизнерадостного, веселого человека, чем кузнец. Он встает на заре и еще до восхода солнца выбивает искры; нет другого человека, который так ел бы, пил и спал, как он. Если принять во внимание только физические условия, то, при условии умеренного труда, положение кузнеца действительно одно из самых благоприятных. Но последуем за ним в город и взглянем на то бремя труда, которое взвалено на его сильные плечи, взглянем на то место, которое он занимает в таблицах смертности нашей страны. В Мэрилебане (один из самых больших городских кварталов Лондона) смертность кузнецов составляет 31 на 1000 ежегодно, что на 11 превышает среднюю смертность взрослых мужчин Англии. Занятие, представляющее почти инстинктивное искусство человека, само по себе безупречное, становится вследствие чрезмерного труда разрушительным для человека. Он может делать такое-то количество ударов молотом в день, такое-то количество шагов, совершать столько-то дыхательных движений, исполнять такую-то работу и прожить в среднем, скажем, 50 лет. Его принуждают делать больше на столько-то ударов, проходить на столько-то шагов больше, на столько-то учащать дыхание, и это в общей сложности увеличивает его жизненную задачу на одну четверть. Он делает попытку в этом направлении, и в результате оказывается, что в продолжение ограниченного периода он действительно увеличивает производимую им работу на одну четверть и умирает в 37 лет вместо 50...»

«ВОСЕМЬ ЧАСОВ».

(Стих. П. Я. [1]). Из Бланчарда.)

Братья, нет сил для терпенья! Мы слишком устали
Вечно бороться за жизнь — эту жизнь нищеты и печали!
Хочется воздуха, красного солнца, простора, душистых цветов...
Прямо и смело заявим: мы требуем — «восемь часов»!
Всюду — на фабриках, в шахтах, в толпах возглашайте народных:
«Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных!»
Наши волы, что пасутся, покончивши труд,
Птицы небесные, звери лесные счастливей живут.
О, если так... Для чего же душа в нас живая?
Сдвинемся, братья, сомкнемся! Всюду от края до края!
С бою возьмем нашу долю, сбросив покорность раба;
Знайте, цари и народы, что не страшна нам борьба!
Грянь же наш клич боевой и в полях, и в собраньях народных:
«Восемь часов для труда, восемь для сна, восемь свободных!»

[1]) П. Якубовича (Мельшина).

20 ЛЕТ В СУТКИ.

(А. Куприн: «МОЛОХ».)

— Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что «царь Борис, желая снискать расположение рабочих масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий». Что-то в этом роде... Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При последних словах инженера Боброва точно подбросило на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги.

— Пользы!? — закричал он исступленно. — Вы мне говорите о пользе? В таком случае, уж если подводить итоги пользе и вреду, то позвольте я вам приведу маленькую страничку из статистики. — И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры: — Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на одну четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках... Постойте, доктор, прежде чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабрике рабочих старее 40 — 45 лет? Я положительно не встречал. Иными словами это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю в месяц, или, короче, шесть часов в день. Теперь слушайте дальше... У нас, при шести домнах, будет занято до 30.000 человек — царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки 180.000 часов своей собственной жизни, т.-е. семь с половиной тысяч дней, т.-е. наконец, сколько же это будет лет?

— Около двадцати лет, — подсказал после небольшого молчания доктор.

— Около двадцати лет в сутки! — закричал Бобров. — Двое суток работы пожирают целого человека. Чорт возьми! Вы помните из библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел...

— Чорт возьми, вы меня ошеломили, — отозвался с дивана доктор. — Хотя цифры могут быть и не совсем точными...

— А известна ли вам, — продолжал с еще большей горячностью Бобров: — известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сеялки или рельсопрокатки? Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей — целый ряд человеческих существований!

— Но, послушайте, голубчик вы мой, — возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва: — тогда, по вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих...

Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по комнате.

— И больница ваша, и школа, — все это пустяки! Цаца детская для таких гуманистов, как вы, — уступка общественному мнению... Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим... Вы знаете, что такое финиш?

— Финиш? Это что-то лошадиное, кажется? Что-то такое на скачках?

— Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью, — за столбом она может хоть издохнуть. Финиш — это полнейшее максимальное напряжение сил, и, чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови...

Так вот и мы. А когда финиш выжат, и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами — к чорту ее, она больше никуда не годится! Вот тогда извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами... Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видели, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста... Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа...

СМЕРТЬ РАБОЧЕГО.

(А. Бибик: «К ШИРОКОЙ ДОРОГЕ».)

Стояла зима, и в щели закрытых ставень выл ветер, пороша снегом.. Максим посидел, пожевал скулами и громко воскликнул:

— И чорт его душу знает! Когда вечера на заводе работаешь — не так будто скучно! Не люблю я зимой...

Помолчав, он смиренным голосом попросил:

— Наташа... а чи тово?.. — Подмигнул.

— С баклажанчиком бы...

— Да нельзя ж тебе, доктор сказал.

— Э, что там доктор! Тоже понимает! Когда у меня без этого скребет... будто сверлом.

Вздохнув, Наталья отложила шитье, сходила в чулан и достала откуда-то пару соленых баклажан и большую чарку водки...

Она подошла к Максиму и дотронулась его головы. Ее внимание привлекли вдруг волосы. Она близко наклонилась и воскликнула:

— Господи, Максим! Да ты весь старик! Седой весь!

Максим горько усмехнулся.

— А ты, небось, думала...

— Царица моя! Это ж ты за эти два года! Сорока пяти еще нету!..

Ей стало жалко его. Пригладив рукой волосы, она мягко сказала:

— Шел бы ты спать. А то не выспишься, на работу завтра опоздаешь.

Максим вскочил вдруг, как ужаленный.

— Работа? Работа? Да будь она трижды проклята! Я не могу больше ходить по этой собачьей дудке! Всю жизнь она! Душу всю вымотала эта работа! Я из человека в станок превратился! в машину!..

Максим схватился вдруг за грудь и зашатался...

Заводский врач давно уже нашел у Максима сердце не в порядке и советовал ему хоть на время бросить работу. И тот бросал. Но когда он сидел дома, то чувствовал себя еще хуже: поясницу и ноги ломило нестерпимо, целый день бродил по двору с молотком и гвоздями в кармане, а на второй, третий день от скуки начинал пить. Да и жить было нечем...

Чтобы подогнать работу, его заставили работать целую ночь. Кое-как он выдержал эту ночь, но когда на другой день пришел обедать, на нем лица не было, и встревоженная Наталья уговорила его не итти после обеда на завод, и он было согласился. Прилег даже на воздухе. Но как только завыл первый гудок, он покорно встал, оделся и пошел-таки.

— Работа, брат, нужная, — объяснил он Наталье. — Скалка к паровому молоту. Кончу, — тогда отпрошусь денька на три.

Второй свисток застал его возле пивной, а нужно было пройти уже водопроводную будку. Если так итти — непременно опоздаешь! Попробовал было прибавить шагу — не тут-то было: ноги стали подгибаться в коленях, а в груди не хватало воздуха и замирало сердце. Это его даже удивило: да неужели он так ослаб? Он, Максим Пастерняк, поднимавший на станок чушки до 10 пудов?! Взяла досада. Вот чертовщина! Тридцать лет тянул свою лямку, а тут вдруг полдня не сможет доработать?!

Понатужился, прижал рукою в том месте, где билось сердце, и все шагал, шагал. Вот его обогнал запоздавший кузнец Кравченко и на ходу крикнул:

— Подтянись, Максим, подтянись!

— Успе-ем,—ответил Максим, улыбнувшись. А сам подумал: опоздаю! Как есть опоздаю.

Это проклятое сердце! Если б можно было схватить его рукою, чтобы не билось! Не давать ему больно так падать. Немного уж! Приостановился, вытер вспотевшее лицо платком и пустился дальше...

Вон сторож машет рукой, закроет сейчас. Подтянись! И вдруг сердце остро кольнуло. Максим словно захлебнулся... запрокинул назад голову, сжал сердце — споткнулся и упал лицом на дорогу...

Кузнец Кравченко, бывший уже у самых ворот, обернулся и посмотрел на лежавшего. — Неужели Максим? — мелькнула догадка, и, предчувствуя недоброе, он бегом вернулся назад.

— Максим! А Максим?! — окликнул он бывшего кума, трогая его за плечо и силясь поднять.

— Да, ну же, чудак! Поднимайся, а то опоздаем!

Максим шевельнул губами.

Кузнец наклонился.

— Что ты говоришь? Громче скажи!

Но Максим перестал уже сознавать. В голову проник густой туман, и Максим потонул в его бездне...

Из лавки вышел Костычев, бывший токарь...

Собралась толпа зевак и детворы.

— Кто это? — спрашивали.

— А так... рабочий один,—отвечал Костычев. И добавил: — Токарь был... замечательный...

III

ФАБРИКА И РАБОЧИЙ

ДОБАВОЧНЫЕ РАБОЧИЕ СИЛЫ.

(К. Маркс: «КАПИТАЛ», т. I.)

Женский и детский труд был первым словом капиталистического применения машин. Выбрасывая всех членов рабочей семьи на рынок труда, машины распределяют стоимость рабочей силы мужчины между всеми членами его семьи. Поэтому они понижают стоимость его рабочей силы. Раньше рабочий продавал свою собственную рабочую силу, которой он располагал, как формально-свободная личность. Теперь он продает жену и детей. Он становится работорговцем. Спрос на детский труд часто и по форме приближается к тому спросу на негров-рабов, образчики которого мы привыкли встречать в объявлениях американских газет. «Мое внимание, — рассказывает, например, один английский фабричный инспектор, — обратили на объявление в местной газете одного из значительнейших мануфактурных городов моего округа; вот копия этого объявления: «Требуется 12—20 мальчиков, не моложе, чем необходимо, чтобы они могли сойти за 13-летних. Плата 4 шилл. [1]) в неделю. Спросить и т. д.». Фраза: «чтобы они могли сойти за 13-летних» объясняется тем, что, по фабричному закону, дети моложе 13 лет могут работать только 6 часов. В Бетналь-Грин, печальной известности округе Лондона, каждый понедельник и вторник утром устраивается открытый рынок, на котором дети обоего пола с 9-летнего возраста сами отдают себя в наем на лондонские шелковые мануфактуры. «Обыкновенные условия 1 шилл. 8 пенс. в неделю (это отдается родителям) и 2 пенса для самого, и чай». Договоры заключаются только на неделю. Сцены и язык на этом рынке поистине возмутительны. В Англии до сих пор еще случается, что женщины «берут мальчиков из работного дома и отдают их в наем какому угодно покупателю по 2 шилл. 6 пенс. в неделю». Вопреки законодательству, все еще до 2000 мальчиков по меньшей мере продается в Великобритании своими родителями, как живые трубочистные машины (хотя для замены их существуют действительные машины).

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ.

(В. Вересаев: «КОНЕЦ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА».)

I.

Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов, в туфлях и без сюртука, сидел за столом и быстро шерфовал [2]) куски красного сафьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комоде гильзы для переплетов. Андрей Иванович уж пять дней не

[1]) Шиллинг = 12 пенсам = 47,3 коп. по довоенному курсу.

[2]) Шерфовать — утончать, срезывая «на нет» края кусков кожи очень остро наточенным специальным ножом.

ходил в мастерскую: у него отекли ноги, появилась одышка, и обычный кашель стал сильнее.

Александра Михайловна с утра зорко следила за его настроением: ей нужно было иметь с ним один важный разговор, и она выжидала для этого благоприятного случая; все время она была очень предупредительна к Андрею Ивановичу, старалась предугадать его малейшее желание.

В комнату вошла шестилетняя Зина, дочь Колосовых, в накинутом на голову большом материнском платке. Она передала матери полубутылку коньяку.

— Хозяин велел сказать, что в последний раз дает в долг, — шопотом сказала она, робко косясь на спину Андрея Ивановича.

Александра Михайловна мигнула ей, чтоб она молчала, и стала накрывать на стол. Достала остатки обеда, подала самовар и заварила чай.

— Ну, Андрюша, довольно работать! Иди ужинать.

Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову: она не была уверена, в настолько ли хорошем расположении Андрей Иванович, чтоб позволить ей это.

Андрей Иванович терпеливо снес поцелуй и пересел к столу. Увидев коньяк, он просиял.

— Вот спасибо, Шурочка, что припасла! — с умилением произнес он. — Недурно коньячку теперь выпить...

Они стали ужинать...

Помолчав, она заговорила:

— К Корытовым в угол новая жиличка въехала. Жена конторщика. Конторщик под Новый год помер, она с тремя ребятами осталась. То-то бедность! Мебель, одежду — все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать, сорок копеек получает за день. Ребята рваные, голодные, сама отрепанная.

Александра Михайловна украдкой взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови: по тону Александры Михайловны он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль.

Она продолжала:

— Говорит мне: то-то дура я была! Замужем жила, ни о чем не думала. Ничего я не умею, ничему не учена... Как жить теперь?.. Хорошо бы кройке научиться, на Вознесенском пятнадцать рублей берут за обучение, в три месяца обучают; с кройкою всегда деньги заработаешь. А где теперь учиться? О том только и думаешь, чтоб с голоду не помереть.

Андрей Иванович с усмешкою спросил:

— Тебе-то какая печаль? Все сплетни в домах знаешь, кто что делает. Настоящая гаванская чиновница! Видно, самой делать нечего.

— «Какая печаль»... Будет печаль, как самой придется итти бутылки полоскать, — сказала Александра Михайловна, понизив голос.

Андрей Иванович выдохнул воздух через ноздри и взглянул на Александру Михайловну.

— Послушай, Саша, опять ты этот разговор заводишь? — угрожающе произнес он. — Я тебе уж раз сказал, чтоб ты не смела со мной об этом говорить. Я это запретил тебе, понимаешь ты или нет?...

— Почему же мне, все-таки, не поучиться, пока есть время?

— Потому что твое дело хозяйство. У тебя и так все не в порядке; посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Словно в свином хлеве живем, как мужики! Ты лучше бы вот за этим смотрела!

Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная, всклоченная голова со

впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед, лезвее ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края сафьяна.

— Тебе же бы от этого помощь была, — снова заговорила Александра Михайловна. — Ты вот все меньше зарабатываешь: раньше семьдесят — восемьдесят рублей получал, а нынче хорошо, как сорок придется в месяц, да и то, когда не хвораешь; а теперь и совсем пустяки приносишь; хозяин вон вперед уж и давать перестал, а мы и в лавочку на книжку задолжали, и за квартиру второй месяц не платим; погребщик сегодня сказал, что больше в долг не будет отпускать... А тогда бы, все-таки, помощь была тебе.

— Саша! Ради бога, оставь ты говорить о том, чего не понимаешь!— сказал Андрей Иванович, стараясь сдержаться. — Я работаю с утра до вечера, содержу тебя, — могу же я иметь хоть то удовольствие, чтоб обо мне заботились! Я хочу, чтоб у меня дома был обед, чтоб мне давали с собой готовый фрыштик. А твои гроши никому не нужны, я и без тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть порядочной женщиной; а если женщина поступает в работу, то ей приходится забыть свой стыд и стать развратной, иначе она ничего не заработает. Ты этого не знаешь, а я довольно насмотрелся в мастерской на девушек и очень много понимаю...

Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила:

— Работать ты мне не позволяешь, а сам о нас не заботишься. Смотри, у ребенка совсем галоши продырявились, а погода мокрая, тает; шубенка вся в лохмотьях, как у нищей; стыдно на двор выпустить девочку...

— На черный день у нас ничего нету. Вон, когда ты у Гебгарда разбил хозяйской кошке голову, сколько ты? — всего два месяца пробыл без работы, и то чуть мы с голоду не перемерли. Заболеешь ты, помрешь, — что мы станем делать? Мне что, мне-то все равно, а за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последний двугривенный отдашь, а мы хоть по миру иди, тебе все равно.

Александра Михайловна вдруг оборвала себя: Андрей Иванович смотрел тяжелым, неподвижным взглядом, в его зрачках горело то дикое бешенство, перед которым Александра Михайловна всегда испытывала прямо суеверный ужас...

II.

Для Андрея Ивановича начались ужасные дни...

Вырабатывал теперь Андрей Иванович страшно мало. Даже не пропустив за неделю ни одного дня, — а это бывало редко, — он приносил в субботу домой не более четырех-пяти рублей. Настоящая нужда была теперь дома, и Александре Михайловне не нужно было притворяться, что нельзя достать в долг, — в долг им, действительно, перестали верить. Платить за комнату десять рублей было теперь не по средствам; они наняли за пять рублей на конце Малой Разночинной крошечную комнату в подвальном этаже; в двух больших комнатах подвала жило пятнадцать ломовых извозчиков. Воздух был промозглый, сырой, в углах стояла плесень, капитальная стена была склизка и холодна наощупь. Зина худела и жаловалась на ломоту в ногах...

С каждым днем ему становилось хуже; по ночам Андрей Иванович лихорадил и потел холодным, липким потом; он с тоскою ложился спать, потому что в постели он кашлял, не переставая, всю ночь, — до рвоты, до крови; сна совсем не было. Во время работы стали появляться мучительные боли в груди и левом боку; проработав с час, Андрей Иванович

выходил в коридор, ложился на пол, подложив под себя папку, и лежал десять-пятнадцать минут; отдышавшись, снова шел к верстаку. И часто он с отчаянием думал о том, что его «хроническое воспаление легких», повидимому, переходит в чахотку...

Андрей Иванович смотрел на Зину: он смотрел на ее отрепанное платье и распадавшиеся башмаки, на бледное, прозрачно-восковое лицо; и думал о том, что у нее тоже есть своя маленькая самостоятельная жизнь, свои радости и горести, независимые от его горя...

— Знаешь, Шурочка, — поколебавшись, сказал он, — пока что... Место подходящее не сразу найдешь... Придется и тебе тоже работы какой поискать себе.

Александра Михайловна просияла.

— Да как же иначе? господи! О чем же я все время говорила тебе! Разве так можно жить? Все равно, что нищие стали. Где ж теперь тебе одному управиться!

— Ах, оставь, пожалуйста!—раздраженно ответил Андрей Иванович.— Я превосходно могу управиться! Дай, подлечусь, либо подходящее место получу, тогда твоя помощь будет совершенно излишняя. А что, действительно, сейчас я мало зарабатываю... Вон у Зины башмаков нету, даже на двор выйти не может, — ты бы вот на башмаки ей и заработала. Нужно и тебе немножко потрудиться, не все же на готовый счет жить.

Они долго обсуждали, чем заняться Александре Михайловне. Выбор был не богатый, — Александра Михайловна толком ничего не умела делать; на языке ее несколько раз вертелся упрек, что вот теперь бы и пригодилось, если бы Андрей Иванович во-время позволил ей учиться; но высказать упрек она не осмелилась. Решили, что Александра Михайловна поступит пачечницей на ту же табачную фабрику, где работала Елизавета Алексеевна...

Александра Михайловна, получив от Андрея Ивановича разрешение работать, ревностно взялась за новое, непривычное дело. По природе она была довольно ленива; но в доме была такая нужда, что Александра Михайловна для лишней копейки согласилась бы на какую угодно работу.

Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу из фабрики на дом. В этом было много неудобного: пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе,—между тем у Александры Михайловны много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товара и т. п. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике: вторым платили за тысячу пачек двадцать копеек, первым же только восемнадцать. Причина этого была непонятна, но так делалось во всех фабриках. Притом домашним пачечницам выдавался и клей низшего качества, и бланки, которые хуже клеились. Вообще к ним относились в фабричной конторе так, как будто бы они были нищие, приходившие за подаянием.

Работая с пяти часов утра до полуночи, Александра Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи пачек. Но редко представлялась возможность наработать столько. Если она приносила за день три тысячи пачек, конторщик сердился: «Что это так скоро? На вас бланков не напасешься! Приходи завтра после обеда!». Иногда бланков не выдавали по два, по три дня. Зато, когда у набивщиков было мало пачек, конторщик начинал торопить Александру Михайловну: «Ты, милая, поскорей работу сготовь; хоть пять тысяч принеси, все приму; уж ночь не поспи, а постарайся, а то дело станет». И Александра Михайловна не спала ночь, готовя пачки к сроку.

Когда подсчитывали недельный заработок, оказывалось, что Александре Михайловне следует получить два, два с полтиной.

Андрей Иванович не мог без раздражения смотреть на ее работу; эта суетливая, лихорадочная работа за такие гроши возмущала его; он требовал, чтоб Александра Михайловна бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запрещал ей работать. Происходили ссоры. Андрей Иванович бил Александру Михайловну, она плакала. Все поиски за более выгодной работой не вели ни к чему.

Александра Михайловна вспомнила, что Катерина Андреевна как-то говорила ей, что у них в картонажной мастерской зарабатывают полтора рубля в день. Она тайком от Андрея Ивановича пошла к Катерине Андреевне. Катерина Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчас все места у них заняты. Александра Михайловна пошла к ее подруге, которую раза два встречала у Катерины Андреевны. Та расхохоталась и объяснила Александре Михайловне, что мастерицы вырабатывают у них те же пятьдесят-семьдесят копеек, как везде, а Катерина Андреевна, действительно, получает полтора рубля; но она их получает от хозяина не только за работу, но и... «за свою красоту».

МАСТЕР.

(Стих. Демьяна Бедного.)

Домой! Домой! Гудит гудок,
Бегут работницы. Конец дневной неволе.
— Успеешь. Погоди... Какой тебе годок? —
Гнусит облезлый мастер Оле;
— Семнадцать? Господи! Бывают же года!
Ну подойди ж сюда.
Работа у тебя, по совести, картинка!
Не кружева, а паутинка!
Я б эти пальчики... С сегодняшнего дня
Удвою деточке... расценку.
Кхе!.. Вот уставилася в стенку!..
Ну, вскинь глазенки на меня:
Постой... Скажи ты, ради бога,
Какая недотрога!
В семнадцать лет, ведь, грех большой —
Не знать, как жить на свете белом,
Благоволит к тебе старшой? —
Благоволи и ты... душой
И... телом.
Я помню... встарь...
Не лыком шиты то ж. Стой, дурочка, куда ты?
Э... кхе... Конфеточка! Ты что ж? Толкаться, тварь?
С завода гнать таких бы... харь!
Заместо кружев, что ты мне суешь? Канаты!!
Не разберу, мол, я, плешивый-то дурак!!
Вот получи-ка штраф... за брак!

Над нами подлецы большую брали волю,
Когда, товарищи, брели мы в темноте.
Но времена пошли не те:
Есть нынче стать кому за Олю!

ДОЛЯ РАБОТНИЦЫ.

(В. Вересаев: «КОНЕЦ АЛЕКСАНДРЫ МИХАЙЛОВНЫ».)

Александра Михайловна кончила фальцовать [1]) листы «Петербургского Вестника». Она сравняла с боков стопку сфальцованных листов и устало облокотилась об нее.

За соседним верстаком Грунька Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, шила дефектные книги. Она, не торопясь, шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время: за шитье дефектных книг платят не сдельно, а поденно. Александра Михайловна искоса следила за Поляковой.

— Что это, какая вам всегда легкая работа! — не вытерпела она.

Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела Александру Михайловну.

— Я больная, у меня ревматизм в руках.

— Больная... — Александра Михайловна помолчала. — Вы, может быть, больная, зато вы одна. А у других, может, ребенок есть, его надо поить-кормить.

— Как кому судьба.

— И вовсе судьба тут не при чем. Дело тут от мастера зависит, а не от судьбы.

— От мастера? что-о вы?.. От какого-такого мастера?

Полякова нарочно повысила голос. Мимо как раз проходил мастер Василий Матвеев. Он услышал вопрос Поляковой и внимательно покосился на них. Александра Михайловна поспешно отошла прочь...

На следующий день после обеда Александра Михайловна, в накинутом на плечи большом платке, вошла в комнату мастера и приперла за собою дверь. Василий Матвеев, с холодным, деревянным лицом, молча следил за нею.

Александра Михайловна весело и приветливо заговорила:

— Вот, Василий Матвеев, у меня сегодня большой праздник, хочу тебя угостить.

Она достала из-под платка полубутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных.

Лицо Василия Матвеева смягчилось.

— Хорошее дело, хорошее дело! Не забываешь мастера. Другой раз и он тебе может пригодиться.

Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александре Михайловне лицо с забегавшими глазами.

— Приходи нынче после работы, вместе винцо разопьем.

И Александра Михайловна почувствовала, как его жирная рука взяла ее под грудь.

— Ах, ты, негодяй! — Она изо всей силы ударила его по руке. — Подлец ты этакий, как ты смеешь?!

Василий Матвеев отшатнулся.

— Что такое? В чем дело? — невинно и громко спросил он. — Что тебе нужно?

Звенящим от слез голосом Александра Михайловна кричала:

— Я честная женщина, а ты смеешь меня за перед хватать?

В косых глазах Матвеева еще бегал блудливый огонек, но лицо уже было сурово и холодно.

---

[1]) Фальцование — складывание листов по формату и порядку страниц.

— Ты что, что ты тут скандалишь? — повысил он голос, наступая на Александру Михайловну. — Что это ты такое принесла мне? Ступай вон...

— Негодяй! Подлец! — Александра Михайловна вышла из комнаты.

Красная, с блестящими глазами, она быстро подошла к верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя на свою работу.

— Что это у вас там было? Чего это он? — с жадным любопытством спрашивала Манька.

— Не твое дело! — резко ответила Александра Михайловна, не поворачивая головы. Она кусала губы, чтобы сделать себе больно и не дать прорваться рыданиям...

Кругом стоял непрерывный шорох сворачиваемых листов, работа кипела, молчаливая и напряженная...

В мастерскую, в сопровождении Василия Матвеева, вошел хозяин, Виктор Николаевич Семидалов. Девушки оставили работу и с любопытством следили за ним: было большою редкостью, когда хозяин заглядывал в брошюровочную.

Оба прошли прямо к верстаку Александры Михайловны. Василий Матвеев разводил руками и говорил:

— Невозможно, Виктор Николаевич, углядеть! Такой народ, просто наказание! Вот, извольте сами посмотреть!

Он полез под верстак и вытащил вино.

— Изволите видеть.

Хозяин, мрачный, как туча, смотрел на Александру Михайловну.

— Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные напитки запрещается вносить сюда? Я принял вас в память вашего мужа, помогал вам, но это вовсе не значит, что вы у меня в мастерской можете делать, что вам угодно.

Александра Михайловна, бледная, с сжатыми губами, молчала, опустив глаза.

— Я и не знал, что вы выпиваете! — с усмешкою прибавил хозяин. — Да еще какие напитки дорогие, — портвейн! А я думал, вы нуждаетесь... Слушайте: в первый и последний раз я вас прощаю, но смотрите, если это повторится еще раз...

Он пренебрежительно оглядел ее и вышел...

В понедельник утром рассыльный положил перед Александрой Михайловной две толстые пачки веленевых листов.

— Подожди, что это такое? Почему мне два листа? Всем по одному дано.

— Мне какое дело, велено! — И рассыльный пошел дальше.

— Я не возьму, неси назад к мастеру, мне не надо.

За веленевые листы платят почти столько же, сколько за обыкновенные; между тем фальцовать веленевую бумагу много труднее: номеров страниц не видно даже на свет, приходится отгибать углы, чтоб номер пришелся на номер; бумага ломается, при сгибании образуются складки.

Александра Михайловна пошла в контору к хозяину. Там был и Василий Матвеев.

— Виктор Николаевич, позвольте узнать, почему мне дали два листа «Европейской флоры»? Всем по одному дано фальцовать, Поляковой ничего, а мне два.

Семидалов вопросительно взглянул на Василия Матвеева. Он развел руками и суетливо наклонился к хозяину.

— Так пришлось, Виктор Николаевич, ничего не поделаешь. Нужно же кому-нибудь дать, поровну на всех не поделишь.

— Вот Поляковой бы ты и дал, — сказала Александра Михайловна.

Матвеев покосился на нее.

— У Поляковой другая работа есть.

— Да-а, другая работа! Шитье в прорезку!

— Это все равно, — поучающе произнес хозяин. — Такую трудную работу нужно всем делить поровну, она права. Работа на работу не приходится, нужно так распределять, чтоб никому не было обидно. Я вам это сколько раз говорил. Вы знаете, я люблю, чтобы все делалось справедливо.

Александра Михайловна с торжеством воротилась в мастерскую. Следом вошел Василий Матвеев. Он медленно обошел работавших, потом остановился около Александры Михайловны.

— Ты хозяину жаловаться! Посмотрим, много ли выгадаешь. Хочешь выше мастера быть?.. Ладно!

Через два дня шить в проколку эту же «Флору» досталось опять Александре Михайловне. Раздачею шитья заведывал Соколов, один из помощников Василия Матвеева. Александра Михайловна пошла к нему объясняться. Соколов грубо крикнул:

— Что это тут за королева объявилась!.. Шей, что дают, и не рассуждай!

— Мне, милый мой, рассуждать нечего, а я к хозяину пойду, — спокойно возразила Александра Михайловна и отправилась в контору.

Хозяин выслушал Александру Михайловну и нахмурился.

— Знаете, голубушка, нельзя же все уж так поровну делить. Работа разная бывает, приходится иногда и потяжелее работу сделать.

С этих пор, завидев входящую в контору Александру Михайловну, Семидалов стал уходить. Его раздражало, что она предъявляет требования, каких ни одна девушка не предъявляла, и что к ней нужно относиться как-то особенно, не так, как к другим.

Вообще в конторе совсем иначе относились к девушкам, чем к переплетным подмастерьям. С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение, и они находились в полной власти Василия Матвеева с помощниками. Подмастерья получали расчет каждую неделю, девушки — через две недели. Подмастерья имели законные расчетные книжки, девушкам заработок вписывался в простые тетрадки. Иногда, просматривая списки с платою, хозяин находил, что такая-то девушка заработала слишком много, вычеркивал девять рублей и вместо них ставил восемь.

— Попробовал бы он с нами так-то, мы бы ему показали! — смеялись подмастерья, когда девушки рассказывали им про это.

И Александра Михайловна не могла понять, потому ли так покорны девушки, что им нет управы на контору, или потому и нет управы, что они так покорны.

ПЕТЬКИНА КАРЬЕРА.

(Г. Успенский: «КОЙ ПРО ЧТО».)

Право, Петька решительно неузнаваем с тех пор, как я видел его в последний раз, т.-е. года полтора тому назад...

«Какая сила переродила забитого, загнанного, пришибленного Петьку и вдохнула в него душу живую?» — спрашивал я себя и, не находя ответа, обратился за разрешением вопроса к одному из крестьянских

мальчиков, игравших в «рюхи» посреди лужайки, в то время когда я и Петька были посторонними зрителями этой игры.

— Федя!—сказал я,—какой наш Петька-то стал!

— А ты как думал! Он, Петька-то, теперь деньги зарабатывает!

— Каким образом?

— Спички делает! Он теперь, Петька-то, фабричный стал! Ишь форсит! Свои деньги у него! Ишь семячек-то сколько! То и дело по карманам шарит, точно миллионщик.

Петька покосился в нашу сторону, поглядел на нас, и поглядел так, как будто хотел сказать: «а мне наплевать», и, изогнувшись набок, запустил руку глубоко в карман, а затем, поплевывая шелуху, продолжал забавлять себя зрелищем игры своих сверстников.

«Наконец!—подумалось мне,—наконец и бедный Петька выбрался на свою дорогу! Нашел путь к своей, Петькиной, карьере!»

Он теперь, очевидно, — навеки фабричный, машинный человек! Да и чем бы он был, бедняга, если бы не пришел какой-то шведский человек и не подобрал этих Петек, этих лишних людей крестьянства?

Скучно, страшно, холодно в захудалом дворянском доме, в захудалой дворянской семье, но в захудалой крестьянской семье страшно и холодно до ужаса! Какая угнетающая душу и мысль тоска и пустота, а главное— бессмыслица веет от этого хлама, который там и сям валяется на разоренном дворе..

Петькин двор и Петькина семья были, на моей памяти, именно такими захудалыми. Не было в доме силы на крестьянство; были у Петьки и отец и мать, но не задалась их совместная жизнь. Не было в Петькином отце силы и страсти поднять «крестьянство»...

Петькин отец плотничал, но всегда случалось как-то так, что работа ему выпадала в самое неподходящее время. Всякую «настоящую» работу обыкновенно успевают переделать, за лето плотники пришлые, люди, знающие свое дело. Петькину отцу всегда доставалось то, чего не успели переделать плотники заправские, т.-е. мелочи и пустяки: вставить в окна косяк, исправить крышу, починить погреб. И всегда эта недоделанная работа доделывается в самое неблагоприятное время: осенью, в холод, в мороз, в дождь и ветер. Сердитый осенний ветер и сердитый Петькин отец—оба как на грех всегда встречались вместе на ничтожном осеннем заработке, мороз точно нарочно сковывает и без того бессильные руки Петькина отца, и Петькин отец со злобой кое-как тяпает топором по дереву, ругая это дерево самыми отборными словами, а в ответ на эти ругательства ветер вырывает из-под бессильного топора и самое бревно. «Чорт!—слышится на такой работе,—дьявол тебя возьми».

— «Ишь чорт!»—говорит мужик, нанявший Петькина отца, глядя на его нескладную работу.—«Ишь, лысый чорт!»—ворчит Петькин отец, косясь на мужика-заказчика, — «за полтинник тебе столярную работу подавай!» И, сделавши работу скверно, обруганный хозяином и обругавший хозяина в свою очередь, Петькин отец с бранью пьет в кабаке косушку, с бранью идет домой и в холодной избе, сам весь холодный и голодный, сердито дышит холодной сивухой, ругаясь на всех и вся и лежа на холодной печи.

На такой именно нескладной и скверной работе Петькина отца увидала впервые Петьку наша учительница...

Два дня работал у нас Петькин отец, и Петька постоянно толкался около него, щепки подбирал. Но и после того, как Петькин отец, по обыкновению, сделав работу скверно, «разругался» и ушел, Петька продолжал являться на то место, где работал отец и где валялись щепки.

Жалко было смотреть на него, маленького, рваного, озяблого, а главное — сердитого, «несимпатичного».

— Послушай, мальчик!—сказала ему однажды учительница через отворенную форточку. — Холодно тебе?

— Не! — ответил Петька сердито и не сразу, а помолчав.

— Как «не»! Видишь, как ты плохо одет... Что, мать-то любит тебя?

Сердито отпихнулся Петька в правый бок и сердито сказал:

— Не!

— А отец?

И в левую сторону Петька пихнул себя сердито и еще сердитей сказал:

— Н-не!

— А ты кого любишь?

Петька только нос утер рваным рукавом.

— Стало быть, тебя никто не любит?

Ничего не отвечал Петька.

— Хочешь, я тебя буду любить?

Петька молчал.

— В гости ко мне будешь ходить... а? Хочешь? Рассказывать тебе буду... а? Гостинцев дам...

Много всяких благ насулила учительница Петьке и, в конце концов, достигла цели.

— Н-ну,—начал Петька неприветливым и суровым голосом, неохотно и медленно поворачивая голову к форточке, — н-ну... люби... когда хошь!..

«Когда хошь» в устах Петьки было то же самое, что в устах его отца было: «чорт!», «дьявол!» — слова, которыми он вслух или про себя всегда заканчивал как начало неудачной работы, так и всегда ее неудачное окончание.

И с этого дня Петька стал ходить к нам в гости, вместе с другими деревенскими мальчиками, но между ним, захудалым потомком захудалого крестьянского рода, и другими, настоящими крестьянскими ребятишками, являвшимися «погостить» прямо с работы, с мельницы, из лесу, с сенокоса,—была неизмеримая разница...

Ходил он к нам часто, но постоянно был недоволен, постоянно у него было мрачное лицо, постоянно он смотрел как-то наискось в землю и, видимо, был одновременно и сердит, и огорчен, и чувствовал в душе отчаяние и злость.

Приготовлялись делать елку. Куча ребятишек клеила коробочки, вырезывала звезды. Суета между ребятишками шла самая оживленная. Петька также присутствовал среди ребят, присаживался к ним то там, то сям, медленно переходил с одного места на другое, тяжело стуча по полу своими неуклюжими сапогами, но не слышно было, чтобы кто-нибудь позвал его, крикнул: «Петька! иди! подсоби!» Нет, никто в нем не нуждался. Петька был одинок. Как он пришел, что делал и как ушел, — никто не видел, не заметил, и вообще никто не обратил на него внимания.

Но когда все разошлись, оказалось, что исчезли десять рублей, лежавшие где-то на столе. Сразу подумали почему-то на Петьку. Особенно тщательно исследовала дело прислуга, не желавшая, чтобы на ней лежала тень подозрения. Общий голос и подробные расследования прислуги окончательно убедили всех, что деньги украл Петька.

Ни сам Петька, никто из Петькиной семьи не протестовал громко против этого обвинения. Только Петькин отец как будто еще больше ожесточился, при встрече перестал кланяться и, проходя мимо нашего

дома (увы! в новом картузе), смотрел на него ожесточенными глазами. Сам Петька скрылся и долго не выходил на улицу. Где-нибудь на задворках он одиноко копался в разном мусоре и сердился на нас... С тех пор он не приходил к нам...

И вот теперь одинокий, отторгнутый от всякой связи с белым светом Петька воскрес! Он не в стороне от ребят, а тут, с ними, и хоть не играет, но наблюдает за игрой и наблюдает не только без огорчения, без обиды, но, напротив, поза у него такая, что заставляет подозревать в нем даже смелость насмешки. Вот ведь как!

Каким же образом не воздать славу шведскому человеку, спичечному фабриканту, который воскресил Петьку?

— Федя!—позвал я опять знакомого мальчика.—Скажи, пожалуйста, что же Петька на фабрике делает?

— Коробки клеит.

— Почем же ему платят? Ну что, например, стоит одна коробка?

Федя подумал и сказал:

— Да одна-то она ничего не стоит...

— Как так?

— Да и вовсе ничего...

— Ну, а десять коробок?

И опять подумал Федя, посчитал в «уме» и сказал:

— Они и десять ничего не стоят.

— Да как же так? Вот я сделал десять коробок—сколько я получу?

— Ничего тебе не дадут...

— Ну, это вздор!

— Ничего не дадут! Тебе копейку дадут, ежели двадцать пять сделаешь. Четыре копейки сотня. Тут одна девочка четыреста штук в день одолевает,—вот проворная! Ну, а Петька не может... Копеек на восемь в сутки—ну, так...

Федя засмеялся.

— А ты говоришь, чего стоит коробка? Да она ничего не стоит... Вот какой есть товар!

«Восемь копеек в сутки,—подумалось мне, — это, конечно, маловато, но что же иное могло ожидать в деревне оторванного от деревни Петьку, крестьянина, лишенного сил и дарования быть крестьянином? На что и кому он нужен, сердитый, бессильный? Нет, восемь копеек своевременно пришли к нему на выручку и вывели его на неизбежный для Петьки путь».

Восемь копеек—это только начало Петькиной карьеры. Зайдите-ка к шведскому человеку, открывшему спичечную фабрику, месяца этак через два после того, как Петька научился добывать по восьми копеек в день, и вы услышите от него, что он уже вынужден сбавить плату с четырех копеек на две.

Почему? Да потому, что Петьки навострились выделывать не по четыреста штук в день, а по полторы, по две тысячи. Такой день дорог для фабриканта, и он убавляет плату до двух копеек. И не думайте, пожалуйста, чтобы Петька подчинился этому мероприятию,—нет: «Пусть две копейки дают, говорит он себе, я буду делать не две, а четыре тысячи в день!..» И будет делать четыре, и будет делать восемь, когда будут платить копейку.

Послушайте-ка, что говорит матка-то Петькина:

— Соколик ты мой! Ведь ты наш кормилец. Кабы не ты—что бы мы стали? Золотые твои рученьки! Сохрани тебя царица небесная!.. За тобой, за родименьким, я и свет-то увидела.

— Дай, Петька, отцу-то пятак!—жалобно, хоть и с отцовским правом поступать с детьми грубо, говорит Петьке его отец.—Авось и моего в твое брюхо как-никак попадало...

— На, бери пятак!—говорит Петька...

Вот Петька-то и раздирается: прежде коробки клеил, а теперь уж и в самое пекло влез... Слаб мальчонка: «рвота, говорит, иной раз от спичкинова составу-то донимает», а все прет, серденек...

Разве в силах Петька, под какими бы ни было давлениями, отстать от своей работы?

Нет, это только начало! Умаявши в деревне шведского человека, Петька переберется в Питер и там начнет мять добрых людей. В деревне он начал превращаться в машинного человека, здесь он уж прилип к машине на вéки веков: дни и ночи, месяцы и годы он не отходит от машины, — тут в ней все его существование, тут слезы и радости «мамыньки», тут Петькино счастье. Тут, словом, вся Петькина жизнь, все содержание жизни, и здесь напряжение сил Петьки дойдет до высшей степени. Это напряжение пробьется сквозь всевозможные преграды: в деревне шведский человек только сбавлял плату; здесь же, в столице, изобретено уж множество других средств для подавления Петькиной жажды существования: штрафы, начеты, перевод с задельной платы на поденную, с поденной на задельную. И все-таки Петька преодолеет и удивит своей живучестью!

Понявши, в чем заключается его единственное спасение, он не будет жалеть никаких администраций, напротив, будет постоянно ставить их в затруднительное положение. Ему нельзя жалеть администраций. Почитайте-ка, что пишет из деревни «мамынька». Разве можно ему себя жалеть? И Петька, не жалея себя, не жалеет и администраций. Не жалеет он ни участков, которые приемлют его по праздникам, в пьяном виде, не жалеет он городовых, которые уж и без того руки обломали с этим народом. Надо бы его остановить в драке, свалить, связать, взвалить на извозчика и пихнуть в темную. Не жалеет он докторов, больниц, которым нет отдыху от этих измученных, худосочных, не то пьяных, не то чахоточных, израненных дракой, машиной, хозяйской выучкой... Вообще Петька сумеет намучить за мамыньку пропасть интеллигентного народа. Но, несмотря на эти муки и его надоедливую жизнь, можно совершенно понять те горючие слезы, которые польются из глаз Петькиной матери, когда, наконец, придет бумага, где будет сказано, что Петька перестал надоедать и с экстренным поездом железной дороги отвезен на Преображенку.

— И где же ты, солнышко мое золотое? И кто же теперь меня, старую, вспомнит, приютит?.. Дитятко мое!..

ПЛАЧ ДЕТЕЙ.

(Стих. Р. Броунинга [1]).

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,—
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства
Все живое счастливо живет,

[1]) Переведено с английского Н. А. Некрасовым.

Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим!

«Колесо чугунное вертится
И гудит, и ветром обдает,
Голова пылает и кружится,
Сердце бьется, все кругом идет:
Красный нос безжалостной старухи,
Что за нами смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стены, окна, двери, потолки,—
Все и все! Впадая в исступленье,
Начинаем громко мы кричать:
— Погоди, ужасное круженье!
Дай нам память слабую собрать!

«Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!
Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать.
Нам домой скорей бы воротиться...
Но зачем идем мы и туда?
Сладко нам и дома не забыться:—
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою
К груди бедной матери своей,
Зарыдав над ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей»...

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ КРОВИ В КАПИТАЛ.

(Д. Лондон — «ОТЩЕПЕНЕЦ».)

— Если ты сейчас не встанешь, Джонни, я тебе не дам есть.

Угроза, однако, не оказала на мальчика никакого влияния. Он упорно продолжал спать, борясь за сон, как мечтатель борется за свои мечты. Слабо сжав кулаки, он судорожно бил ими по воздуху. Эти удары предназначались для матери, но когда она сильно трясла его за плечо, было видно, что она давно уже научилась избегать их.

— Оставьте меня в покое!..

Мать поспешила схватить его за плечи и снова стала сильно трясти его. Он снова заболтал в воздухе кулаками, на этот раз сильнее и метче. Наконец он раскрыл глаза, и она оставила его. Он совсем проснулся.

— Ну, хорошо, — пробормотал он.

Взяв со стола лампу, она поспешно вышла из комнаты, бросив на-ходу:

— Тебя оштрафуют.

Он поспешно глотал свой завтрак, едва пережевывая хлеб и запивая его большими глотками кофе. Собственно говоря, эту горячую, грязноватую жидкость едва ли можно было назвать кофе; но Джонни считал ее кофе, и даже превосходным кофе. Это была одна из немногих жизненных иллюзий, которую ему удалось еще сохранить. Настоящего кофе ему еще ни разу не доводилось пить...

Вдруг оба вскочили, потому что в отдалении послышался резкий, протяжный гудок. Она посмотрела на маленький будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого...

Ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице...

Джонни и его мать шли усталой походкой, тяжело шаркая ногами.

Минут пятнадцать шли молча, затем мать свернула направо.

— Не задерживайся после работы, — бросила она на прощанье, скрываясь в темноте.

Он не отвечал и, не останавливаясь, пошел дальше. В рабочем квартале всюду открывались двери, и вскоре он очутился в целой толпе, спешившей куда-то в темноте. Когда он входил во двор фабрики, снова прозвучал гудок...

Он занял свое место при одной из машин, стоявших длинными рядами. Перед ним быстро вращались большие веретена, под которыми стоял ящик с мелкими шпульками. Нитки с этих шпулек он прикреплял к большим веретенам. Работа была очень проста, требовалось только делать это быстро. Мелкие шпульки с нитками опорожнялись так быстро, а крупных веретен, на которые передавались нитки, было так много, что совсем не оставалось времени для отдыха.

Он работал механически. Как только маленькая шпулька опорожнялась, он левой рукой останавливал вращение большого веретена и на-лету хватал большим и указательным пальцами конец нитки. В то же время он правой рукой хватал конец нитки с маленькой шпульки и одним поворотом руки мигом связывал свободные концы ткацким узлом. Узлы эти давались ему очень легко. Он говорил, что может связывать их даже во сне. И в самом деле, иногда он ночью работал за машиной целые века и делал бесконечное множество ткацких узлов...

Некоторые из мальчиков хитрили, не спешили заменять шпульки, когда они опорожнялись. За этим следил, однако, специальный надсмотрщик. Сосед Джонни попался и получил за это головомойку.

— Посмотри на Джонни! — гневно сказал надсмотрщик. — Почему ты не не работаешь так, как он?

Веретена Джонни работали во-всю. Но он не испытал ни малейшей радости от косвенной похвалы надсмотрщика. Было время, когда... но это было очень давно. Теперь, когда его выставляли примером, достойным подражания, он относился к этому совершенно равнодушно. Он был превосходным рабочим, он это знал; ему об этом часто говорили. Он привык к этому положению, и оно ему решительно ничего не давало. Превосходный рабочий превратился в превосходную машину; с ним, как и с машиной, бывало, что работа не идет — значит, материал плохой. Если превосходная машина иногда плохо работает, то она в этом никогда не бывает виновата сама.

И не удивительно, что он был такой превосходной машиной. Он с самого рождения находился в самом тесном общении с машинами. Двенадцать лет тому назад в прядильном отделении этой самой фабрики

произошло некоторое замешательство. Мать Джонни почувствовала себя дурно. Ее уложили на пол в проходе между визжавшими машинами. Позвали двух работниц постарше. Заведывающий отделением помогал. Несколько минут спустя в прядильной оказалось новое человеческое существо, вступившее в нее не через двери. Это был Джонни; первыми звуками, поразившими его слух, был треск и лязг машин, с первым своим дыханием он втянул в себя теплый, влажный воздух мастерской, наполненный мелкими волокнами хлопка. Уже в первый день жизни он откашлялся, чтобы освободить легкие от этих волокон. И с тех пор кашель его уже не прекращался...

Когда ему было шесть лет, он заменял отца и мать, как Вилли, так и другим младшим братьям и сестрам. Семи лет он начал работать на фабрике — наматывать нитки на шпульки. Когда ему было восемь лет, он перешел на другую фабрику. На этот раз ему попалась удивительно легкая работа. Ему приходилось только сидеть и при помощи небольшой палочки направлять полосу сукна, проходившую перед ним нескончаемым потоком. Ткань выходила из недр машины, проходила над сильно нагретым цилиндром и уходила себе дальше. Но ему приходилось сидеть на одном и том же месте под газовым рожком, никогда не видя солнечного света, и он стал частью, необходимым придатком машины.

Несмотря на влажную, жаркую атмосферу, в которой ему приходилось сидеть, он был очень доволен этой работой, так как он был еще молод, и ему были доступны мечты и заблуждения. Пока он следил за бесконечной полосой сукна, перед его глазами проносились чудесные видения. Но, так как работа не требовала ни малейшего напряжения и не заставляла работать мозг, то современем он стал мечтать все меньше и меньше, и ум его стал тусклым и сонным. Однако, он получал по два доллара в неделю, и в бюджете семьи в этих двух долларах заключалась вся разница между острой голодовкой и хроническим недоеданием.

Однако, когда ему было девять лет, он потерял эту работу. Произошло это из-за кори. Едва выздоровев, он стал работать на стеклянном заводе. Здесь платили лучше, и работа требовала некоторого искусства. Платили по-штучно, и чем он становился искусней, тем больше зарабатывал.

Было из-за чего стараться, и он действительно старался, пока не стал прекрасным, чрезвычайно искусным работником.

Работа была проста — он привязывал стеклянные пробки к горлышку маленьких бутылок. На поясе у него висел пучок бичевок. Бутылочки он зажимал между коленями, чтобы можно было работать обеими руками. Благодаря сидячему и согнутому положению, узкие плечи его стали сутулыми, и грудь сжималась в течение десяти часов в сутки. Для его легких это было нехорошо, зато он за эти десять часов подвязывал триста дюжин бутылок. Управляющий заводом гордился им и неизменно показывал его всем посетителям. Триста дюжин бутылок... — это значило, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены, каждое движение его костистой руки, каждое сокращение мускулов его тоненьких пальцев были быстры и точны, как машина. Работа стоила ему огромного напряжения, и он стал нервным. Мышцы его по ночам судорожно сжимались, и днем тоже он никогда не знал покоя. Он был все время напряжен, мышцы его беспрестанно подергивались. Лицо его приняло землистый оттенок, приобретенный на ткацкой фабрике кашель усилился. Слабые легкие не выдержали, в них сделалось воспаление, и он снова потерял работу.

Теперь он снова возвратился на прядильную фабрику, где началась его карьера. Здесь ждало его повышение. Он был хорошим работником.

Из прядильной его переведут в крахмальную, а оттуда в ткацкую. После этого останется только бесконечно совершенствоваться в быстроте работы.

Теперь машины вращались значительно быстрее, чем когда он работал здесь в первый раз. И, сообразно с этим, мозг его работал все меньше и меньше. Прежде он все время мечтал за работой, теперь он не мечтал вовсе...

Он чрезвычайно рано стал взрослым. В семь лет, когда он впервые стал получать заработную плату, началось его отрочество. В нем проснулось некоторое сознание независимости, и отношения с матерью, сообразно с этим, изменились. Став работником, зарабатывающим свой хлеб и исполняющим известное назначение в мире, он стал почти равным матери. В одиннадцать лет он был уже мужчиной в полном смысле слова; в это время он в течение шести месяцев работал в ночной смене. Ребенок не может работать в ночной смене и остаться ребенком...

Его шестнадцатый день рождения ознаменовался тем, что он перешел в ткацкое отделение. Здесь тоже стоило стараться, так как работа была сдельная. Вскоре он достиг поразительных результатов, так как способность становиться превосходной машиной в нем целиком сохранилась.

Два месяца спустя он уже смотрел за двумя станками, а затем ему дали три, потом четыре станка.

К концу второго года в ткацком отделении он производил в день больше ярдов, чем любой из его товарищей, и почти вдвое больше того, что производили менее искусные из них. По мере того, как он приближался к полному развитию своей работоспособности, улучшалось материальное положение семьи. Его все повышавшийся заработок, разумеется, все еще был ниже потребностей семьи. Дети подрастали и ели все больше и больше; они ходили в школу, и им нужны были книги. С другой стороны, как-то выходило, что чем больше он работал и зарабатывал, тем выше поднимались цены на все нужные предметы. Даже квартирная плата с каждым годом повышалась, несмотря на то, что дом, который никогда не ремонтировался, с каждым годом становился грязнее и хуже.

Он значительно вырос, и худоба его еще больше бросалась в глаза. Вместе с тем он становился нервнее. Вместе с нервностью росла в нем угрюмость и раздражительность...

Жизнь не давала ему решительно никаких радостей. Дня он не видел. Ночь он проводил в неспокойном и тяжелом сне. Все остальное время он работал, и впечатления его носили какой-то машинный характер. У него не было никаких идеалов и лишь одна только иллюзия— он воображал, что пьет отличный кофе. Он был настоящим рабочим животным...

Однажды, в конце весны, он возвратился с фабрики домой более усталым, чем обыкновенно...

Процесс раздевания показался ему мучительной, трудной работой, и он, наконец, повалился на кровать, успев снять только один башмак. В голове что-то словно разбухало, мозг тускнел, в ушах звенело. Тонкие пальцы казались ему толстыми, как кулак, и в концах было такое же смутное, щекочущее ощущение, как и в мозгу. Поясницу мучительно ломило, болели все кости, все тело. Затем в голове с ревом завертелись тысячи ткацких станков. По воздуху, по всем направлениям, стали носиться шпульки, и среди них появились звезды. Он один работал на тысяче станков, работал все быстрее и быстрее, его мозг разворачивался, вытягивался в тонкую, длинную нитку, и эта нитка питала все тысячи летящих шпулек...

На следующее утро он не отправился на фабрику; он не мог, потому что в это время спешно работал на той тысяче станков, которые вертелись в его мозгу. Мать, прежде чем отправиться на работу, послала за доктором, который заявил, что у него очень тяжелый приступ инфлуэнцы...

Только неделю спустя Джонни поднялся с постели и, шатаясь, сделал несколько шагов по комнате. По мнению доктора, через неделю он будет уже в состоянии снова приняться за работу. Было воскресенье, и после обеда его посетил заведующий ткацким отделением. «Это — лучший ткач на фабрике, — сказал он матери больного, — и место ему будет сохранено. Пусть он остается дома еще неделю, до следующего понедельника»...

Джонни все время просидел в одном положении, весь сгорбившись, глядя остановившимся взглядом на пол, и после ухода заведующего еще долго не двигался с места. Так как на дворе было тепло, то он после обеда просидел несколько часов на пороге. По-временам губы его двигались. Казалось, он занят какими-то бесконечными вычислениями.

На следующий день с утра он снова сел на порог. У него не было бумаги и карандаша, и ему, повидимому, страшно трудно было вычислить в уме.

— Что идет после миллионов? — спросил он после обеда Вилли, когда тот возвратился из школы.

В этот день он кончил свою задачу...

На следующее утро мать задолго до рассвета принялась будить его. Он всю неделю прекрасно высыпался и проснулся без всякого труда — не боролся со сном и не цеплялся за одеяло, когда она его раскрыла.

Он лежал совершенно спокойно и совершенно спокойно сказал:

— Это бесполезно, мама.

— Ты опоздаешь, — сказала она в полной уверенности, что он не совсем еще очнулся.

— Я уже проснулся, мама, но вам не стоит стараться, лучше оставьте меня в покое. Все равно я не встану.

— Но ты потеряешь работу! — воскликнула она.

— Я больше никогда не буду работать.

— Джонни, ради бога! — простонала она. — Не говори этого...

Его слова казались ей кощунством. Отказ от работы казался ей в такой же мере чудовищным, как отрицание бога.

— Что с тобой случилось?! — воскликнула она, пытаясь говорить властным тоном.

Джонни снисходительно улыбнулся, но такое отсутствие раздражительности еще больше испугало мать.

— Я вам сейчас объясню, — ответил он. — Я до смерти устал. Отчего я так устал? От движения. Я все время двигаюсь, с той минуты, как родился. Я устал и не хочу больше двигаться. Помните, как я работал на стеклянном заводе? Я приготовлял тогда триста дюжин в день. Теперь мне вспоминается, что для каждой бутылки я делал десять различных движений, значит, в день я делал тридцать шесть тысяч движений; в десять дней — триста шестьдесят тысяч; в месяц — миллион и восемьдесят тысяч движений. Бросьте эти восемьдесят тысяч, — он добродушно улыбнулся,—бросьте эти восемьдесят тысяч, останется миллион движений в месяц, двенадцать миллионов в год. Теперь за ткацкими станками я делал вдвое больше движений. Я делал по меньшей мере двадцать пять миллионов движений в год, и мне кажется, что я двигался таким образом почти миллион лет. За всю эту неделю я совсем не двигался. Я за несколько часов не делал ни единого движения. Ах, как

это было хорошо! Я сидел себе по целым часам и не делал решительно ничего. До этого я никогда еще не знал, что такое счастье. У меня на это не хватало времени. Я все время двигался. Если продолжать так двигаться, то счастья никогда не будет. Но я этого больше никогда не сделаю. Отныне я хочу только сидеть, сидеть да отдыхать, а затем снова отдыхать... Я устал. Мне все это надоело, и я ухожу. Ну, что ж? Вы проститесь со мной?

Она не отвечала. Она закрыла лицо передником и заплакала...

Выйдя из дома, он пошел по троттуару.

Взглянув на дерево, одиноко стоявшее на той стороне улицы, он улыбнулся. «Теперь я уж решительно ничего не буду делать», с тихой радостью проговорил он. Он посмотрел на ясное небо, но ярко светившее солнце заставило его опустить глаза.

Он шел долго, не спеша. Прошел фабрику, на которой он в последнее время работал. Улыбнулся, когда до его слуха донесся глухой шум ткацких станков, улыбнулся мягкой, спокойной улыбкой. Ни к кому у него не было ненависти, даже к ревущим и визжащим машинам. Он не ощущал ни малейшей горести, чуствовал только огромную жажду отдыха.

Дома и фабрики стали редеть, пошли пустоши. Город, наконец, остался позади, и он шел по тенистой дороге рядом с полотном железной дороги. Он ходил не как мужчина. И выглядел он не как мужчина. Он казался лишь переодетым в человеческий облик. Казался исковерканным, сгорбленным осколком жизни, жалкой, болезненной обезьяной, сутулой, узкогрудой, с бессильно болтающимися руками, смешной, несуразный и ужасный.

Пройдя мимо небольшой железнодорожной станции, он прилег на траву под деревом и пролежал там до вечера. Повременам дремал, при чем мускулы его во сне сокращались, члены подергивались. Просыпаясь, он лежал без движения, следил за полетом птиц или глядел на небо сквозь листву дерева. Несколько раз принимался беззвучно хохотать без всякой причины.

Когда сумерки перешли в ночь, к станции с глухим рокотом и пыхтением подошел товарный поезд. Пока паровоз маневрировал, переводя часть вагонов на запасный путь, Джонни тихонько приблизился к поезду. Отодвинув дверь пустого товарного вагона, он неловко, с трудом влез в него. Задвинул дверь. Засвистел паровоз. Джонни лежал в углу, в черном мраке и улыбался.

ПОСЕЩЕНИЕ ФАБРИКИ ИНСПЕКТОРОМ.

(Д. Лондон — «ОТЩЕПЕНЕЦ».)

В мастерской произошло некоторое замешательство. Волнение какими-то таинственными путями сразу передалось всем. Одноногий мальчик, работавший с другой стороны Джонни, быстро прошел в конец мастерской и мигом исчез в пустом ящике вместе со своим костылем. В мастерскую вошел директор фабрики с каким-то молодым человеком. Этот последний был чисто одет, носил крахмальную рубаху, с воротничком, словом, по классификации Джонни, был «джентльменом» (барином). Это был инспектор.

Проходя вдоль ряда станков, он внимательно разглядывал мальчиков. Повременам он останавливался и задавал им вопросы, при чем принужден был кричать изо всех сил, и лицо его принимало смешное, напряженное выражение. Он заметил, что станок рядом с Джонни пустой, но

ничего не сказал. Обратил он также внимание на Джонни и вдруг остановился перед ним. Он схватил мальчика за руку, чтобы оттянуть его на шаг от станка, но тотчас же с восклицанием удивления бросил его руку.

— Он довольно-таки худой, — с тревожным смехом заметил директор.

— Не руки, а какие-то трубочки, — сказал инспектор, — посмотрите на его ноги. У него начинается английская болезнь. Если он не станет эпилептиком [1]), то только потому, что не успеет, умрет от туберкулеза.

Джонни слушал этот разговор, но ничего не понимал. К тому же будущие его невзгоды нисколько не тревожили его, так как перед ним, в лице инспектора, стояла более грозная и более непосредственная опасность.

— Ну, милый мой, скажи мне настоящую правду, — сказал, вернее, прокричал инспектор почти в самое ухо мальчика. — Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — солгал Джонни изо всех сил своих легких. Он солгал так громко, что тут же разразился резким, сухим кашлем, нарушившим безмятежный покой всех тех волокон, которые сегодня с раннего утра наседали на его легкие.

— А на вид ему можно дать не меньше шестнадцати, — сказал директор.

— Или шестьдесят, — едко ответил инспектор.

— Он всегда казался таким.

— Давно? — быстро спросил инспектор.

— Уже несколько лет. На вид он нисколько не становится старше.

— Вероятно, и не моложе. Все эти несколько лет он работал здесь, неправда ли?

— Не все время... Но это было до издания нового закона, — поспешно прибавил директор.

— А этот станок не работает? — спросил инспектор, указывая на свободную машину рядом с Джонни, незаполненные веретена которой вращались с отчаянной быстротой.

— Да, повидимому. — Директор подозвал надсмотрщика и крикнул ему что-то на ухо, указывая на свободный станок. — Да, этот станок не работает, — сказал он затем, обращаясь к инспектору.

Они прошли дальше, и Джонни возвратился к своей работе, радуясь, что опасность миновала. Зато хромому мальчику не повезло. Зоркий взгляд инспектора заметил его, и ему пришлось вылезть из своего ящика. Губы его дрожали, и на испуганном лице появилось выражение глубокого горя. Надсмотрщик глядел на него с таким удивлением, словно видел его впервые, а на лице директора стояло изумленное и недовольное выражение.

— Этого я знаю, — сказал инспектор,—ему только двенадцать лет! В этом году по моему настоянию его уже три раза увольняли с разных фабрик. Это будет уже четвертый раз. — Затем он обратился к хромому мальчику: — Ведь ты дал мне честное слово, что поступишь в школу!

Мальчик расплакался.

— Ради бога, господин инспектор; у нас умерло двое детей, и мы страшно бедные...

— Почему ты так кашляешь? — спросил инспектор, наседая на него, словно тот совершил преступление.

— Это пустяки, — отвечал хромой мальчик, — я только простудился на прошлой неделе, господин инспектор, больше ничего.

Кончилось, однако, тем, что хромому мальчику пришлось уйти с инспектором, а за ними, протестуя, плелся встревоженный директор. После этого в мастерской снова продолжалась монотонная работа...

---

[1]) Эпилептик — больной падучей болезнью.

МАШИНУШКА.

Много песен слыхал я в родной стороне,
Их про горе и радость там пели;
Из тех песен одна в память врезалась мне,
Это песня рабочей артели:
Эх, дубинушка, ухнем;
Эх, зеленая, сама пойдет!
Подернем, подернем,
Да ухнем!

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать не в мочь,
Так затянет родную дубину.

Припев:

Эх, дубинушка, и т. д.

За годами года проходили чредой,
Изменилась родная картина,
И дубина с сохой отошли на покой,
Их сменила царица-машина.
Эх, машинушка, легче,
Эх, железная, сама идет!
Наладим, наладим,
Да пустим!

Старый строй разрушал капитал-властелин,
С корнем рвал он дворянские роды.
Мужиков и ребят из родных палестин
Гнал на фабрики, верфи, заводы.

Припев:

Эх, машинушка, и т. д.

Где дворянская жизнь, что лилася рекой?
Уж не гнутся на барщине спины;
Правит Русью купец золотою рукой,
Мужиков превратил он в машины.

Припев:

Эх, машинушка, и т. д.

Знать английский урок не пропал — пошел в прок,
Поумнел наш российский купчина,
Лишь рабочий порой вопрошает с тоской,
Что тяжеле: соха иль машина?

Припев:

Эх, машинушка, и т. д.

ПЕРВЫЕ ЖАЛОБЫ НА МАШИНЫ.

(П. Бризон — «ИСТОРИЯ ТРУДА И ТРУДЯЩИХСЯ».)

Послушайте сетования канских рабочих, изложенные в брошюре, которая появилась ко времени созыва Генеральных Штатов [1]).

«Многие наказы, можно было бы даже сказать — все... требовали упразднения механического прядения... Человечество, святое человечество, умоляет, а богатые, которые наслаждаются всем, которые купаются в волнах изобилия и не могут почувствовать бедствий, ими не испытываемых, толпами бросаются на арену, чтобы вступить в борьбу с лишенным всего бедняком, на коленях просящим хлеба! Ах, все софизмы [2]) личного интереса должны разбиться об этот непреодолимый аргумент: хлеба!.. Английские прядильные машины, которые стараются привить во Франции, еще более увеличили сумму бед... Не боясь, можно сказать, что они парализовали все рабочие руки и поразили на-смерть промышленность прядильщиц. В самом деле, народ, у которого нет иной собственности, кроме этого рода промышленности, видит себя внезапно лишенным единственной работы, обеспечивающей его существование. Машины для прядения хлопка разоряют не только класс прядильщиков и прядильщиц, как в городе, так и в деревнях, они разоряют также и торговлю фабрики. Хлопковая пряжа, выходящая с этих машин, вяла, ломка и тяжела, ее трудно окрашивать и обрабатывать. Наконец, такая пряжа влечет за собой большой убыток при подготовительной работе и вообще при фабрикации»...

ВРАГ МАШИНЫ.

(М. Кретцер — «МАСТЕР ТИМПЕ».)

I.

Дело было в понедельник. В десятом часу двести рабочих фабрики Урбан вдруг оставили работу. Они объявили протест против неожиданного понижения заработной платы. В другой пуговичной фабрике, находящейся на одной из соседних улиц, забастовка началась уже неделю раньше...

К великой досаде Урбана через несколько часов оставили работу и токари, занимавшиеся выделкой слоновой кости; это было особенно неприятно, так как в этом отделе недавно получен был очень большой и очень спешный заказ заграницу. Но Урбан отпустил и этих рабочих, не сделав им никаких уступок.

Около шестисот рабочих осадили фабричное здание и длинными вереницами расхаживали перед ним взад и вперед. Несмотря на это, среди них царствовал образцовый порядок; только глухой говор, как рокот слегка взволнованного моря, носился в воздухе. От времени до времени где-нибудь раздавался резкий свисток или просто клик. Глухой говор переходил

---

[1]) Генеральные Штаты—собрание народных представителей во Франции в XIV—XVIII веках.

[2]) Софизм — умышленно ложное доказательство, построенное на первый взгляд правильно.

в громкий гул голосов, моментально собиралась густая куча людей, а полицейские спешили разгонять толпу и предлагали расходиться. Темная волна начинала катиться по улице. На несколько минут водворилось жуткое молчание, которое, в виду многочисленности собравшихся людей, таило в себе что-то зловещее...

Мастер Тимпе искренно обрадовался этому зрелищу.

— Я так и думал, что когда-нибудь этим кончится, — сказал он себе со злорадной усмешкой. — Хорошо было бы, еслиб всю фабрику снесли к чорту...

Ему так и хотелось совершить какой-нибудь геройский поступок: рассказать этим беднякам историю собственной своей гибели; яркими красками описать им горе нищеты и силу капитала, подстрекнуть их к неповиновению законам, бросить в их ряды зажигательные слова возмущения. Разве и он теперь не принадлежал к их числу, разве и ему не предстояла та же участь: с узелком в руке отправляться по утрам куда-нибудь на фабрику, чтобы стать одной из машин в легионах обездоленных?..

За последнее время он совершенно перестал работать, и в мастерской у него лежали груды нагроможденного материала. Никогда еще не чувствовал он такого равнодушия ко всему, к себе, к тому, что могла ему дать жизнь. Он казался самому себе бродягой, который идет по улицам, прося хлеба и ночлега.

Начинало темнеть. Мокрый снег шлепал под его ногами. Туман пронизывал его насквозь. Он приближался к своей улице и шел погруженный в мысли, напрасно стараясь разобраться в своих желаниях и надеждах на будущее, во всех своих противоречивых чувствах, которые не давали ему покоя; наконец он понял, что вся жизнь опостылела ему. Он так поразился этим открытием, что невольно остановился посреди улицы и уставился в землю.

Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо. Перед ним стоял его старший подмастерье Фома Бейер...

II.

— Токарь Тимпе просит слова.

Сотни голов повернулись к дверям, где названный оратор еще скрывался в толпе...

— Токарь Тимпе просит слова. — еще раз повторил председатель.

Теперь все поняли его. Кто не знал мастера Тимпе! Большинство слышало о его мастерской, о хорошем отношении мастера к своим подмастерьям и ученикам...

Вот он прошел к сцене, с опущенными глазами, медленно и нерешительно, как человек, который первый раз в жизни собирается говорить и чувствует на себе взоры тысячи людей. Минуты через две он с трудом вскарабкался на сцену, поклонился офицеру и стал около стола председателя...

Опираясь рукой на край стола, он начал говорить, сначала неуверенно и робко, но мало-по-малу более связно и возвышая голос. Собственно, он не говорил даже, а рассказывал, как человек, которому просто хочется отвести душу.

— Господа, — начал он, — вы видите во мне разоренного токаря... Дело мое процветало десятками лет, восемь подмастерьев работало у меня в мастерской, а нынче я один и с трудом добываю насущный хлеб. Мне

шестьдесят восемь лет; пятьдесят лет я стоял за станком и поэтому могу сказать несколько слов о нашей общей судьбе.

Видно было, как он подыскивал слова, чтоб найти связь между отдельными предложениями. Видно было, что он заставлял себя быть спокойнее, хотя внутренно дрожал от сильнейшего волнения: глаза блуждали и, казалось, не находили себе точку опоры, одна рука беспрестанно поднималась, а другая судорожно сжимала край стола.

Он рассказал, как Урбан и крупное производство постепенно погубили его. Мало-по-малу он оживился, глаза сильнее заблестели, лицо раскраснелось, вся фигура как будто выпрямилась.

— Господа, машины и крупные фабрики виноваты во всем... массовое дешевое и скверное производство погубило ремесло... У кого деньги, чтобы долго продержаться, — тот остается наверху, а кто доверяет только своему искусству — того затаптывают ногами. Прежде ремесленники принадлежали к опорам правительства, нынче они погибают один за другим, и никто не обращает на это внимания. Монархия не должна этого допускать. Всякий мошенник с деньгами может теперь взяться за производство, учиться ему не нужно ничему. Учатся те, которых он разоряет своей подлой конкуренцией...

Послышались одобрительные возгласы; собрание все более увлекалось правдивостью его слов и простотою его речи.

— Тридцать лет уж я самостоятельный мастер, — продолжал он, — честно прошел время учения, всю жизнь был прилежным работником, а пришлый лавочник пустил меня по миру. Урбан его имя, если хотите знать.

Раздалось многоголосое протяжное: — А!..

— Для этих господ, вся мудрость которых заключается в их набитом кошельке, нет ничего святого, если они могут разорить ремесленника. Они не только отбирают у него покупателей, не только лишают его права на существование, но сверх того еще крадут у него модели... хоть ночью из окна! Но как же назвать людей, которые так поступают? Ворами их называют!..

Тон, которым он говорил теперь, поразил всех. В зале произошло движение, точно все собрание в экстазе готово было повскакать с своих мест. Такого языка давно уже не слыхали. Всю буржуазию, всех капиталистов света следовало бы собрать и подставить под удары этого старика! Как он их пробирал!

Квартальный офицер позволил мастеру говорить то, чего не позволил бы никому другому, так как знал его за вполне благонадежного патриота и знал, что его сын принадлежит к числу фабрикантов.

Увидев странно изменившегося мастера, он сразу решил, что старик немного слаб в уме, и в конце концов просто стал сомневаться в его рассудке. При последних словах Тимпе, он снова встал и сделал председателю знак; тот дернул мастера и попросил его кончить. Но Тимпе не слушал его...

Ярость человека, много лет принужденного молчать, охватила его, и, не в силах больше владеть голосом, он крикнул в толпу:

— Надо разгромить все фабричные трубы, они портят воздух... сравняйте фабрики с землей... сломайте машины!..

Дальше он не мог говорить. Квартальный офицер надел шлем и объявил заседание оконченным.

В ту минуту встала и вся тысячная толпа; гром аплодисментов и криков наполнил залу. Тысяча голосов запела рабочую Марсельезу...

БУНТ ТКАЧЕЙ В ЛАНКАШИРЕ.

(М. Туган-Барановский — «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРИЗИСЫ»[1]).

10 апреля 1826 г. толпа ручных ткачей бросилась на бумаго-ткацкую фабрику в окрестностях Блэкбурна, на которой были поставлены механические ткацкие станки, но успела только выбить стекла из окон, когда подоспели войска. 24 апреля беспорядки повторились в большем размере. На четырех фабриках в окрестностях Блэкбурна все механические ткацкие станки были разрушены. Затем та же толпа в числе нескольких тысяч человек явилась в Блэкбурн. Около 500 человек было вооружено пиками, немногие имели ружья или пистолеты. Толпа немедленно набросилась на одну фабрику и разрушила ткацкие машины. То же повторилось и с другой фабрикой. Солдат было немного, и, несмотря на открытый ими огонь, при чем несколько рабочих было убито, они не могли сладить с толпой. Все паровые ткацкие станки в Блэкбурне и окрестностях были уничтожены.

События в Блэкбурне дали толчок к подобным же сценам по всему Ланкаширу. Ткачи нападали на фабрики и разрушали ткацкие машины. В Манчестере одна фабрика была подожжена. Войска нередко стреляли — и число убитых и раненых достигало значительных цифр. Центрами волнений были Манчестер, Виган, Больтон и Блэкбурн. Волнения продолжались более недели, при чем 17 фабрик подверглись нападению и около 1000 ткацких машин было разрушено. Под конец толпы нападавших стали достигать до 20 тысяч человек. Толпа не только разрушала машины, но и грабила съестные лавки и проходящих прилично одетых людей.

Волновались почти исключительно безработные хлопчато-бумажные ручные ткачи, положение которых было отчаянным. В одном Блэкбурне число безработных ткачей достигло с семьями 14 тысяч человек, т.-е. больше половины населения, которого в Блэкбурне числилось 22 тысячи. Безработные получали пособия съестными припасами, но пособия эти были так скудны, что «Таймс» в передовой статье 10 апреля заявила без обиняков: «коротко сказать, рабочие Блэкбурна умирают голодной смертью».

О настроении, вызвавшем эти волнения, можно судить по петиции, поданной ткачами г. Больтона министру колоний лорду Бэтгорсту. В этой петиции ткачи просили оказать им содействие для эмиграции из Англии. «Желание эмигрировать из родной страны, — заявлялось в петиции, — не есть минутное решение, вызванное крайностью переживаемого нами в данный момент, но основано на самом зрелом размышлении. Некоторые из нас помнят время, когда они могли заработать достаточно, чтобы поддержать себя в старости и содержать семью. Причины, от нас независящие, превратили это благополучие в состояние крайнего обнищания и крайней бедности... Мы стоим теперь на самой низкой ступени, на которую спускались когда-либо человеческие существа, и глубже погрузились в нищету, чем, как показывает история, какая-либо группа промышленного населения в прежнее время... Помощь, которая оказывается добровольными пожертвованиями, слишком незначительна, а получение ее, сверх того, несовместимо с естественным чувством независимости... Это

---

[1]) Книга ценна в своей исторической части. В теоретической есть расхождения с теорией кризисов Маркса.

ужасное состояние, когда свободный человек не может заработать своим трудом достаточно для своего пропитания; но еще ужаснее, когда даже такого скудно оплачиваемого занятия нельзя найти и когда общественные отношения таковы, что средств к существованию нельзя добыть никаким другим способом» [1]).

СЦЕНЫ ИЗ «РАЗРУШИТЕЛЕЙ МАШИН»,

драмы Э. Толлера [2]).

Действующие лица:

Нед Луд, ткач.
Маргрэт, его жена, ткачиха.
Джон Уайбл, ткач.
Урэ, фабрикант.
Его гость, чиновник.
Генри Коббет, управляющий Урэ.
Надзиратель.
Джордж, Вильям, Бод, Альберт, Артур, Чарли, Эдвард, Джек, Том, первая женщина, вторая женщина, дети-вязальщики, ткачи и ткачихи.

Место: Ноттингэм, в Англии. Время: около 1815 г.

Первая сцена.

Церковная площадь в рабочем квартале Ноттингэма. Солнечный весенний день... *Джимми* подходит к *Неду Луду*.

Джимми. Нед Луд.

Нед Луд. Это я. А ты кто?

Джимми. Рабочий человек, как ты.

Нед Луд. Из Ноттингэма?

Джимми. Родился в Ноттингэме. Много лет странствовал и сегодня в первый раз опять здесь. Шатался по Англии и континенту.

Нед Луд. Тогда я приветствую тебя, как товарища на твоей старой родине.

Джимми. Благодарю тебя, Нед Луд. У вас стачка?

Чарли. Машина в городе.

Нед Луд. Наши тела хотят втиснуть в ужасное рабство.

Джимми. Из-за этого борьба?

Нед Луд. Они хотят надеть на нас цепи. Они хотят приковать нас к страшному чудовищу. К мельнице, которая приводится в движение паром и которая когтит людей, швыряет и вертит на смерть.

Джимми. «Мулэ»-машина [3]) уже здесь?

Нед Луд. Каждый человек на божьей земле имеет естественное право жить тяжелым трудом своих рук. Каждый человек рождается свободным и имеет право на труд. Непреложное, святое право. Кто отнимает у нас это право, является предателем. Предателями являются

---

[1]) «Таймс», 1826, г. 20 мая.

[2]) Написано зимой 1920—21 г. в крепостной тюрьме Нидершенефельд. Перевод С. М. Городецкого. Автор—член быв. Советского правительства в Баварии.

[3]) Мулэ-машина — прядильная машина, у которой вытягиванье и кручение чередуются с наматыванием выпрядевной нити.

мастера, которые привезли машины в город. Какая же теперь цена ручной работе?

Джиммми. У вас уже была «Дженни» [1]).

Чарли. И уже она была нарушением прав человека.

Нед Луд. Вместо одного веретена она двигает восемнадцать. Каждая «Дженни» ежедневно отнимает хлеб у пяти прядильщиков. «Мулэ», говорят, двигает тысячу веретен. Придет день, когда Урэ выбросит нас на свалку: «Околевайте». «У меня машина». Мы должны соединиться. Ни рукой к машине! Мы хотим жить трудом наших рук, как до сих пор. Тогда знаешь, по крайней мере, что ты человек. Заработная плата с машин—чортова плата. Мы объединились. Джон Уайбл — наш вождь. Сегодня вечером собрание у него.

Джиммми. Вы ведете борьбу против машин?

Нед Луд. Кулаки еще наши.

Джиммми. Я знаю машину, и говорю: то, что вы делаете,—безумие.

Нед Луд. Пусть это безумие, пусть это бесцельно. Мы должны бороться, потому что мы люди. Если будем молчать, мы будем животными, покорно идущими под ярмо.

Джиммми. Я знаю, что машина — наша неизбежная судьба.

Нед Луд. Твои слова мне чужды. Я тебя не понимаю...

Вторая сцена.

Внутренность коттэджа. Жилище *Джона Уайбла.* Сырая комната. Обстановка: стол, два сломанных стула, два ткацких станка... Входят: *Чарли, Боб, Вильям, Эдвард, Артур, Джордж* и другие рабочие.

Чарли. В большом рабочем корпусе стоит она.

Боб. Чудовище имеет много рук и сто пастей открытых.

Вильям. Этот демон схватит нас и смелет.

Эдвард. Господа продали души свои дьяволу.

Джордж. Кровавой платой будем мы.

Рабочие. Всегда мы платим кровью...

Чарли. В церквях попы громят стачку и направляют на нас женщин.

Боб. Король нам запретил собранья и союзы.

Джон Уайбл. Пусть кишками последнего попа удавится последний царь.

Чарли. Пусть будет так...

Джон Уайбл. Товаром Урэ сделал нас, который покупают и вон выбрасывают, если он порвался.

Теперь машина у него,
И победу торжествует он нагло.
Это чудовище сожрет работу тысячи ткачей.

Чарли. Ворующий работу у людей грешит против природы.

Все. Грешит против природы.

Джон Уайбл. Мужчин погонят вон из городов,
Детей на дьявольскую цепь посадят.
Трехлетних, говорят, детей чудовище хватает.

Альберт. А если пустят нас к машине, какова наша работа?
Соединять разорванные нитки, надзирать
За диким зверем, быть рабами на цепи.

---

[1]) Дженни — прядильная машина, построенная Джемсом Гаргривсом в 1764—67 г.г.

Эдвард. Не будем больше ткать, производить не будем.
Джон Уайбл. Дьяволу продал вас Урэ. Дьяволу отдаете вы душу.
Артур. Что... с нами будет?
Альберт. В Карлтоне на три дня связался я с машиной.
Потом бежал. Как будто адскими клещами
Вас демон-Пар хватает.
Из тела рвет вам сердце
И пилит, пилит, пилит
В куски живое тело.
Ты, Чарли, стал ногой: ты ходишь,
Ты ходишь, ходишь, всю свою жизнь.
Слабнут твои руки,
Глаза твои ослепнут, сгорбится спина;
Ты, Джордж, становишься рукой... и вяжешь... вяжешь... вяжешь...
Оглохнут твои уши... Высохнет твой мозг,
И кровь твоя застынет...
Чарли. Я буду ногой...
Джордж. Я буду рукой...
Крики (глухо). Бессильны...
Джон Уайбл. Есть одно средство. Объявить войну машине.
Молох [1]) вселился в Ноттингэм. Убить его,
Или завтра он размножится и тысячами народит чудовищ.
Клянемся воевать! Клянемся ненавидеть!
Рабочие. Клянемся ненавидеть!
Джон Уайбл. Когда Молох склубится в своей черной крови,
Хозяин Урэ не посмеет больше
Приковывать нас к новым дьявольским отродьям.
Машине смерть!
Война тирану-Пару!
Машине смерть!
Война тирану-Пару!
Рабочие. Машине смерть!
Война тирану-Пару!..

Третья сцена.

Площадь перед виллой Урэ. Высокая стена ограждает парк. В середине главные ворота, в стороне калитка... Толпа оборванных женщин движется к стене.

Женщины. Мы не хотим машины! Мы не хотим машины!

Тишина.

Первая женщина. Как деревянные чурбаны молчат эти люди... Если бы охотничья собака лаяла здесь, ей бы скорей открыли. Я должна была продать последнюю мебель, кровать. Как пиявка присосался ко мне лавочник. На этой кровати спали сын, дочь, ночлежник, отец, муж и я... Пришлось заложить эту кровать.

Вторая женщина (кричит в сторону дома). Эй, вы, господа... Отвечайте. Мы просим вас, мы ведь не воры, которые приходят ночью, чтобы вас обокрасть. Мы пришли белым днем. Мы только просим, мы умоляем.

---

[1]) Молох—у финикиян и некоторых других азиатских народов—бог солнца (огня), которому приносились человеческие жертвы.

Тишина. Балконная дверь отворяется. Выходит управляющий *Генри Коббет.*

Женщины. Мы не хотим машины! Мы не хотим машины!

Управляющий. Машина стоит в полной готовности. Бросьте бессмысленную стачку, и завтра у вас будет хлеб. Я получу столько дешевых рук, сколько мне нужно. И не плохих...

Женщины. Все ли будут приняты обратно?

Управляющий. Мы сожалеем об этом, но большинство мужчин будет уволено. Но все ваши дети будут приняты, 3-х и 4-хлетние тоже. И молодые ловкие женщины. Будьте благоразумны, женщины. Деликатность производства требует особенной тонкости пальцев.

Первая женщина. Господин, дорогой господин, уберите машину из города. Вы не дадите умереть с голоду ни одному голубю, ни одной козе. Вы хороший господин. Вы зимой ставите воробьям корм. Вы делаете домики для дятлов. Мы только люди, господин. Но ради Христа, сжальтесь над нами... На жизнь не хватит, если только молодые женщины и дети будут работать... Дьявол хочет искусить вас и прислал вам машину. Господин, добрый господин, уберите машину из города.

Женщины. Господин, добрый господин, уберите машину из города!

Управляющий. Мы исполняем свой национальный долг на службе Англии. Конечно, машина вытесняет мужчин, но лишь на короткое время. Почему? Я дам вам цифры. Мы будем производить товар на больших фабриках. Результат: товар на 50% станет дешевле. На 50%! Вы знаете, что это значит? Сегодня вы должны платить за погребение господину пастору 4 шиллинга. За кусок земли, скажем, в 2 метра длиною, в 1 метр ширины—6 шиллингов. Вообразите, что пришел час радостной вести: господин пастор требует только 2 шиллинга. Земное жилище стоит только 3 шиллинга. Разве вы не спокойнее станете умирать, зная, что ваша семья потеряет вместо недельного заработка только половину его? И как радостным галопом понесетесь вы в дешевую могилу, так же помчатся галопом покупатели к дешевому товару. Еще один хороший результат: обращение товаров увеличивается, спрос повышается. Товаров! — кричат потребители. Товаров! — воют сирены торговых кораблей. Товаров! — скрежещут железные дороги. Товаров, товаров, товаров!.. отсюда вывод: старые фабрики не в состоянии удовлетворить потребностям народов. Новые фабрики, могучие фабрики, колоссальные фабрики откроют свои ворота безработным. В Англии нет столько безработных, сколько могут эти гигантские пасти фабрик пожрать, пожрать, пожрать... Имейте терпение, женщины. Мой личный совет: все, кто сегодня не получит работы, пусть вернется на землю. Если бы дело шло по нашей воле! Милые женщины... Но спрос в Европе теперь приостановился. Европа в долгах со времени великих войн. Вы, англичанки, патриотки, должны понять, что наше отечество не может кредитовать, т.-е. давать в долг национальные богатства обанкротившимся должникам. Отечество выше всего.

Управляющий уходит в дом. Тишина. Изумление.

Протяжный вой женщин. Долой машину!

Тишина.

Крики женщин. Смерть машине! К лавкам! Кровь или хлеб! Смерть машине!

Женщины собираются в толпу и уходят.

Четвертая сцена.

Подвал. Комната Нед Луда. Обстановка: стол и несколько табуретов. В глубине соломенная подстилка, на которой лежат дети, Маргрэт и Нед Луд сидят у стола. У Маргрэт на руках маленький.

Маргрэт (поет).
Баю, баюшки, баю,
Скоро боженька возьмет
Деточку мою.
Принесет нам гробик золотой,
Ляжет детка под землей.
Скоро боженька придет
За тобой
И за мной,
Полетим мы вместе в рай,
Баю, баюшки, бай-бай.

Маргрэт укладывает ребенка на солому и снова садится за стол.

Маргрэт. В нашем доме касса. Не допускай этого.

Нед Луд. Моя жена — злая корка. Не прогоняй мне солнца, которое, как робкий гость, прокрадывается в нашу комнату!

Маргрэт. Ты продолжаешь быть старым дураком. Пусть Джон Уайбл хранит деньги у себя.

Нед Луд. Боишься, что полиция сделает обыск у нас?

Маргрэт. У меня 13 детей.

Нед Луд. И у меня тоже.

Маргрэт. Посмотри на них. Только посмотри на них. Только посмотри на младшего. Когда я укладываю его на вшивую солому... бог мне прости... я желаю, чтобы я клала его в могилу.

Нед Луд. Он родился чахоточным.

Маргрэт. Разве я виновата в этом? Вплоть до последнего часа я стояла у прялки... а потом... через три дня надзиратель прислал спросить меня, приду ли я на четвертый день. Что должна была я делать? На четвертый день утром, в половине пятого, я пошла в душную мануфактуру. Должна была прясть. Весь день молоко у меня текло из груди. Когда я в девять часов уходила из мануфактуры, мое платье сочилось молоком. Я была слишком усталой, чтобы съесть кусок хлеба. Раньше трех часов утра я не попадала в постель...

Нед Луд. Этому придет конец, я говорю.

Маргрэт. Ты крикун...

Нед Луд садится к столу. Погребает голову в руки. Входит Джон Уайбл.

Нед Луд. Наши жены разгромили три лавки.

Джон Уайбл. Они поступили правильно. Вы были у Урэ?

Нед Луд. До обеда.

Джон Уайбл. Его ответ?

Нед Луд. Нехороший.

Джон Уайбл. Нас всех примут обратно?

Нед Луд. Из ста человек семьдесят пять будут уволены. Больные женщины не должны больше приходить на фабрику. Дети все будут приняты обратно. А что будут делать безработные мужчины? — спросили мы. Подумайте, — без работы, без хлеба! «О, — сказал господин Урэ, — вероятно мы, при хорошем сборе, построим новые фабрики. Мужчины

в это время будут иметь возможность подумать о своей бессмертной душе». И еще он сказал, что машины не нуждаются в сильных, а в гибких. Наши руки были бы слишком грубы, тяжелы, неотесаны и мало пригодны для работы у машин.

Джон Уайбл. Так, так... Мы должны подумать о нашей бессмертной душе. И кроме того, о мазях и о втираниях для того, чтобы наши руки стали мягкими и гибкими. Прекрасное средство. А плата?

Нед Луд. Пять пенсов детям, восемь пенсов женщинам, один шиллинг мужчинам.

Джон Уайбл. А условия?

Нед Луд. Тяжелые, Джон. Мы должны обещаться на год вперед. Урэ может уволить каждого без предупреждения, если он плохо работает или нарушает порядок спокойствия. Если мы при работе сломаем челнок, щетку, масленку, сломаем колесо, мы должны заплатить за них. А штрафы? Они выше, чем заработок. Кто забудет свои ножницы, платит пенни. Кто оставит свое место у машины—платит три пенса. Кто выйдет без разрешения надзирателя — платит пять пенсов, кто разговаривает с другими рабочими, кто поет или свистит — платит четыре пенса. Мы должны жить в коттэджах Урэ и половину нашего заработка получать товарами.

Джон Уайбл. Так, так. Штрафами он хочет вернуть себе заработную плату...

Врывается толпа женщин. Маргрэт с ними. Первая женщина выбрасывает детям хлеб из своего передника.

Первая женщина. Вот, дети, ешьте до-сыта. Потом опять придут семь тощих годов.

Дети жадно бросаются на хлеб.

Нед Луд. Это хлеб из лавок? Награбленный хлеб? Я не позволю этого!

Вторая женщина. Ха-ха, он не позволит! До колик насмешил. Он не позволит! Добродетельный человек, честный человек. Как забытые взаперти собаки жадно бросаются на кости с голоду, так теперь твои дети жуют хлеб лавочников. Отними его у них, Нед Луд, покажи свое мужество. Возьми его, награбленный хлеб... Нечестное добро... Ха! Теперь он поджимает хвост и... слезы... слезы... текут у него. Что я вижу?. Железный Нед Луд — и слезы...

Тишина.

Пятая сцена.

Слабо освещенное фабричное помещение. Гигантская паровая машина и механические ткацкие станки. У ткацких станков работают дети и несколько женщин. У паровой машины двое мужчин. Симфония звучащих шумов наполняет здание. Отчетливо слышно шуршание трансмиссий. Разнообразнейшие жужжания колеблются в воздухе. Звонкозвучное пение быстро бегущих валов. Глухое ворчание рычагов. Мерное, звучное щелкание челноков.

Надзиратель. Девять часов. Начинать... Ты, чего уставилась в воздух?

Маленькая девочка. Я не могу днем спать, господин... И теперь едва могу держать открытыми глаза!..

Надзиратель бьет девочку ремнем. Без слов ребенок продолжает работать. Маленький мальчик входит в дверь.

Надзиратель. Девять часов две минуты. Ты пришел на работу на две минуты позже, чем предписывают правила! Должен записать тебя в штрафную книгу. Марш!.. Вычет из заработной платы два пенса!..

Маленький мальчик идет к своему месту.

Надзиратель (через некоторое время). Девять часов девять минут. Закрыть двери!..

Женщина закрывает двери. Как только двери закрылись, снаружи стучат.

Надзиратель. Кто там?..

Голос снаружи. Мэри Анна Уоклей!

Надзиратель. Часы показывают девять часов двенадцать минут. После девяти и десяти минут никто не впускается. До часу ты должна ждать за дверьми! Заношу в рубрику штрафов! Вычет половину заработка!

Голос снаружи. Ах, господин, я не совсем здорова сегодня... и потеряла так много крови... Пока я шла... Я опоздала...

Надзиратель. Ты потеряла кровь, должно быть, по другим причинам. Впрочем, меня это не касается. Мое дело — правило. Правило! Первый параграф правил!

Шаги удаляются. Снова стук в дверь.

Надзиратель. Кто там?

Голос снаружи. Урэ!

Надзиратель. Сейчас, сию минуту, открываю!

Надзиратель открывает дверь. Входит фабрикант Урэ и его гость—правительственный чиновник. Надзиратель полон пресмыкающегося подобострастия.

Урэ. Все в порядке?

Надзиратель. Все в порядке, господин!

Урэ. Все руки заняты?

Надзиратель. Все!

Урэ (своему гостю). Здесь вы видите фабрику. Агенты иностранной конкуренции называют ее бойней или домом ужаса. Демагогия любит сильные слова. Я открыто признаю: машина приучает бунтарские руки к послушанию. Славу богу — взгляните на детей, многоуважаемый. Замечаете ли вы усталость, плохое настроение? Или, быть может, дурное обращение?.. Как ярко сверкают их глаза! Как они радуются легкой игре своих мускулов! Как полно наслаждаются они естественной в их возрасте подвижностью! Взгляните в ту сторону! Восхитительная быстрота, с какой эта маленькая девочка сцепляет разорвавшиеся нити. С какой радостью щеголяют эти милые малыши своим искусством перед моим гостем! Эстетическое наслаждение! Неправда ли?

Гость. Раздаются голоса, что заработок детей слишком низок.

Урэ. Болтовня господ, заседающих за зеленым столом, не затронутых опытом и практикой. Заработок должен быть столь низким. Низкая заработная плата есть единственное средство защиты фабрикантов от жадности родителей. Иначе они посылали бы к нам уже годовалых детей. Нет худших эксплоататоров, чем родители из рабочих. Они хищнически расходуют рабочую силу и здоровье своих детей.

Гость. Ночная работа не отзывается вредно на здоровье?

Урэ. Никоим образом! Впрочем, и конкуренция не позволяет нам отказаться от ночной работы! Если бы мы не решились на это, следствием была бы остановка предприятия.

Гость. В парламенте хотят ограничить дневную работу детей тринадцатью часами.

Урэ. Парламент, парламент! Такой закон означал бы ограничение полной свободы труда! Нужно позволить рабочему работать, сколько он хочет.

Гость. Дети имеют перерыв для еды?

Урэ. К нашему искреннему и сердечному сожалению, мы не можем установить этот порядок. Подумайте, ведь тогда пришлось бы дольше поддерживать топку под котлами и этот расход угля был бы чистым убытком.

Гость. Надзиратель — бывший рабочий?

Урэ. Да, бывший рабочий! Старательному путь открыт... поскольку он приличен, здоров, послушен и прилежен. С надзирателями из рабочих мы достигаем лучших результатов. Они быстро порывают все связи с бывшими товарищами и ассимилируются [1]). Они добросовестны, надежны, неукоснительно строги и оказывают нам выдающиеся услуги.

Гость. Возвышающая мысль для этих людей. Когда же, вы думаете, окончится эта глупая забастовка?

Урэ. Мы можем ждать. В нашем распоряжении достаточно материала: безработные, сироты из приютов Карлтона — дети, знакомые с работой машин. В нашей черни сидит проклятый дух возмущения. Опасная романтика английских мечтателей о свободе, защищаемая самовлюбленными литераторами, ведущими эту работу. Мы желаем лучшего для наших рабочих. Они тоже носят крест. Это никогда не забывается. Мы ведь люди. А награда — неблагодарность! Высокочтимый, идемте!

Урэ и гость оставляют фабрику.

Надзиратель. Продолжать работу и не зевать! Ты пел какую-то песню?

Маленький мальчик. «Никогда, никогда британцы не будут рабами».

Надзиратель. Заношу тебя в штрафную книгу. Одно пение — вычет из заработка... Что я вижу? Э!..

Надзиратель идет к ткацкому станку, у которого, скорчившись, заснула, маленькая девочка.

Надзиратель. Как мир кишит грехами!.. Эта штучка спит у станка! Э!..

Надзиратель грубо тормошит девочку. Она вскакивает и автоматически продолжает работу.

Маленькая девочка. Ах, господин, далекая дорога, ноги так изранены!

Сильный удар в дверь... Крики толпы прибоем катятся все ближе, ближе. В двери ломятся.

Крики. Открывайте!.. Открывайте!..

Дверь проламывается. Толпа, среди которой Нед Луд, Джон Уайбл, Чарли, Джордж, Эдвард, Альберт, Артур,—бурей врывается в зал.

Крики толпы. Вы штрейкбрехеры!.. штрейкбрехеры!.. К чорту вас!.. Надзиратель, ты дезертир!..

Дети и женщины, занятые у станков, боязливо отступают в угол.

Крики толпы. Это дети!..

Все. Дети!

---

[1]) Поглощаются буржуазной средой.

Крики. Чугунный человек!..

Толпа видит машину. Подавленная видом машины, она застывает в изумлении. Несколько секунд резкая тишина. Инженер, надзиратель, штрейкбрехеры и дети убегают.

Артур (после паузы). Я... не могу... говорить... так... как... Джон и Джимми, но... но... Артур... Артур... может взять... свою мотыгу... и не бояться... и постоять за себя... и... смело ударить!..

Артур ударяет сразмаху по машине. Его затягивает маховик.

Артур (ужасно кричит). Ма... ма... мать моя!
Эдвард. Враг человека раздавил его.

Почти все как в летаргии. Нед Луд тоже. Тут он замечает одного рабочего, который хочет украсть медную часть. Он выходит из оцепенения.

Нед Луд (хватает рабочего). Медь из кармана!.. Вор!.. Ты будешь грабить мертвого врага!.. Мы на войне, парень... на осадном положении. Грабителей расстреливают! Что ты смеешься? Разве смеешься, убивая на войне людей?.. Чертовщина нас водит за нос, братья!

Нед Луд бросается на машину и бьет по ней.

Нед Луд. Ты ведьма, дьявольское семя!

Остальные, устыдясь своего страха, бросаются с удвоенной яростью на машину и разбивают ее.

Крики. Ага, теперь вяжи меня, черный, чугунный человек! Сломай мне спину!..

Стучат в дверь.

Голос офицера. Сдавайтесь!.. Фабрика окружена.
Нед Луд. Заприте нас. Мы знаем, что мы сделали...
Придут другие...
Более знающие, более верующие, более мужественные, конечно. Ваше царство уже шатается, владыки Англии!

Открывается дверь. Рабочие оставляют фабрику. Видно, как на дворе их окружает полиция.

МАШИНА И РУЧНОЙ ТРУД.

(И. М. Кулишер — «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ТРУДА НА ЗАПАДЕ В XIX СТОЛЕТИИ» [1]).

Одной из характерных особенностей второй половины XIX века является стремление техники к полному вытеснению физического труда из процесса производства. В одних отраслях промышленности эта цель, несомненно, уже почти была достигнута, как, например, в текстильной и металлургической промышленности, где почти все процессы приняли автоматический характер, но и в других областях, где еще недавно господствовал ручной труд, в начале XX века он почти совершенно исчез...

---

[1]) Книга ценна даваемым ею фактическим материалом. Автор — не марксист.

Так, в производстве бутылок, где делались многочисленные попытки механизировать труд, добились в результате лишь того, что выдувание стекла выполнялось машиной, тогда как рабочему приходилось попрежнему набирать стекло из печи, отливать его в форму, регулировать приток воздуха и вынимать готовые бутылки. Изобретение Оуэн'а сделало всю эту работу излишней, ибо при помощи вращательного механизма расплавленная масса стекла в раскаленном состоянии передается машине, которая автоматически отливает ее в форму бутыли и в законченном виде, с горлышком выпускает сразу по 4 бутыли и так же автоматически складывает их в очаг для охлаждения (закальный очаг). Машина Оуэн'а производит 14—15 бутылок в минуту, и для действия ее достаточно 1 рабочего, тогда как она выполняет столько же, сколько 30 выдувальщиков, освобождая последних от напряженной и вредной для легких работы выдувания...

В сапожном промысле, благодаря изобретению многочисленных специальных машин, выполняющих те или другие операции, к началу XX в. производство механическим способом имелось в совершенно законченном виде: все действия, начиная от кройки голенища и вплоть до шитья подошвы, выполнялись машиной. В Соединенных Штатах выделка 100 пар дешевой женской обуви отнимала в 1868 году еще 538 часов, в 1895 году всего 83 часа, и расходы сократились со 109 до 20 долларов; для производства 100 пар сапог среднего качества в 1863 году нужно было 1.831 час труда, в 1895 всего 234 часа, и издержки упали с 458 до 59 долларов. Но и в других отраслях промышленности ручной труд к концу XIX и в начале XX столетия был в сильной степени вытеснен машиной. На американских пивоваренных заводах пиво из бочек переливалось при помощи воздушного насоса в разливочный аппарат, действующий автоматически; точно так же промывание, чистка, разливка, закупорка, заделка бутылок в проволоку и наклейка на них этикеток производилась машинами. На велосипедных заводах почти вся работа выполнялась механически, даже ввинчивание винтов. Много всевозможных машин применялось в столярном производстве (строгальных, полировальных и других), в переплетном (для обрезывания книг, покрытия переплета полотном, печатания надписи и др.), даже в портняжном, где машина пришивает карман скорее, чем человек вдевает нитку в иголку и делает первый стежок, другая машина выделывает петлю в полтора вершка длины менее чем в 40 секунд, третья в виде механических ножниц, приводимых в движение электрическим мотором, служит для кройки платья. Появились многочисленные автоматические аппараты, самостоятельно снабжающие себя материалом и последовательно выполняющие целый ряд разнообразных операций, вроде ротационной печатной машины, которая не только печатает листы, но и разрезывает их, складывает и кладет один на другой; машины, выделывающей винтики, которая сама себя снабжает металлом и, обработав его, выбрасывает готовый продукт; булавочной машины, берущей проволоку, разрезывающей ее, выправляющей и полирующей, заостряющей конец и приделывающей головку, так что получается булавка; машины, изготовляющей конверты, которая берет лист бумаги, намазывает его, заклеивает с трех сторон, осушивает четвертую и, произведя все эти операции, выпускает конверт в готовом виде. Роль и значение техники выражаются в следующих цифрах: то, что производит прилежная прядильщица в течение дня, машина выделывает в 10 минут; ткацкие фабрики, пользующиеся силой пара, производят в 90 раз больше, чем ручное ткачество. Штука материи, на изготовление которой необходимо было бы потратить 340 часов при ручном труде, изготовляется при

машинном производстве в 3 часа 40 мин. По Рюльману, усовершенствованный Брюкелем чулковязальный станок дает в неделю 150 дюжин длинных женских чулок; так называемые бобинетты, изготовляющие тюль, выделывают в минуту 26.000 петель, тогда как умелая работница выделывает не более 5-ти петель...

Ситценабивная машина в минуту отпечатывает кусок ткани в 18 метров длины 3—4 красками, проделывая это при помощи двух рабочих и одного мальчика, тогда как при ручной набойке понадобилось бы в 200 раз больше тех и других. Было вычислено, что если бы вся та пряжа, которую производят машины, изготовлялась ручной прялкой, то для этого необходимо было бы 100 миллионов рабочих, т.-е. все трудоспособное население Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии вынуждено было бы изо-дня в день исключительно заниматься производством пряжи, при чем оно могло бы зарабатывать не более двух-трех копеек в день, если бы цена пряжи оставалась столь же низкой, как при прядильной машине...

МОРАЛЬНОЕ СНАШИВАНЬЕ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА.

(Филиппович—«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И УСПЕХИ КУЛЬТУРЫ».)

Открытие Суэцкого канала почти вполне обесценило те британские парусные суда, которые предназначались для плавания в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, но которые совсем не годились для плавания по каналу. Масса построенных в 1870—1873 г.г. пароходов продавались потом за половину и менее своей стоимости, потому что они устарели и уступили место пароходам 1875 и 1876 г.г. А конструкции кораблей этого времени, спустя 10 лет, в свою очередь, устарели и стали бесполезными вследствие введения новых машин, сберегающих уголь.

В технике производства стали последовавшее в 1878 году введение способа Томаса [1]) сделало возможным сбережение около трех пятых труда, требовавшегося 10 лет тому назад, при одновременном уменьшении сырого материала; для приготовления одной тонны стальных рельс потреблялось в 1868 г. 10.000 фунтов угля вместо нынешних 5.000. Капитал в 90 милл. марок, вложенный в железоплавильные горны, был обесценен; 39.000 рабочих лишились своего заработка...

До 1872 года все почти хлопчатобумажные материи окрашивались красящим веществом, добываемым из корня марены, для производства которой употреблялись огромные площади земли в Голландии, Бельгии, Восточной Франции, Италии и Леванте. В настоящее время, благодаря открытию берлинского химика Гофмана, две или три химических фабрики в Германии или Англии приготовляют то же красящее вещество, по очень умеренной цене, из дегтя, и производившие марену сельскохозяйственные предприятия перестали давать доход; целые области лишились своего заработка...

Подобный ход развития является с такой правильностью и постоянством следствием технического прогресса, что американский писатель Давид Уэльс мог установить, как экономический закон, следующее положение: «Ничто не характеризует столь явственно условия материального прогресса, как быстрота, с которою все, унаследованное от старых времен и прежде признававшееся богатством, разрушается вследствие новых изобретений и открытий.

---

[1]) Способ выделения из чугуна примесей путем особой переработки его.

ЛИШНИЕ.

(В. Реймонт—«ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ».)

Инженер Боровецкий проходил по аппретурному отделению [1]). Вдруг кто-то из рабочих остановил его.

— Что угодно? — спросил Боровецкий и продолжал путь свой.

— Пан Фуке, мастер наш, передал нам, что с начала месяца окажется лишних пятнадцать человек.

— Да. Будут поставлены машины новой системы, при которых не требуется столько народу, сколько при старых.

Рабочий вертел шапкой в руке и мялся, не зная, что ему ответить директору. Но взгляды тех, что стояли за машинами, за кипами материй, ободрили его.

И, идя следом за Боровецким, он спросил:

— А что мы будем делать?

— Будете искать работы. Останутся только те, кто уже долго работает.

— Да ведь и мы уже три года работаем.

— Что я могу поделать, раз машине вы не нужны: она самостоятельно может работать. Может быть, произойдут какие-нибудь перемены до первого числа: может быть, белильное отделение будет расширено, — спокойно ответил Боровецкий.

Он вошел в подъемник и спустился вниз...

Рабочие переглядывались между собою. В глазах виднелась тревога, опасение завтрашнего безработного дня, боязнь голода и нищеты.

— Скотины, а не машины. Сукины дети!—прошипел рабочий и ногой со злобой толкнул машину.

— Товар на пол падает, — закричал мастер.

Рабочий напялил шапку на голову, нагнулся и спокойно, как машина, принялся отбирать красную материю, которую выпускала машина...

НА $^1/_8$ ЦЕНТА ДЕШЕВЛЕ.

(Э. Синклер — «ДЖИММИ ХИГГИНС».)

Уже целых четыре года Джимми служил у старого Грэнича и все это время делал только одно: стоял в огромном помещении среди хаоса бегущих ремней и вертящихся колес, среди грохота, визга, рева и гула, которые совершенно парализовывали одно из пяти чувств. Перед ним передвигался приводимый в движение машиной лоток, наполненный небольшими продолговатыми стальными брусками, которые он всовывал обеими руками сразу в два места в машине; машина принимала эти бруски, закругляла их с одного конца, стачивала немного остальную часть, делала на ней нарезку, и в лоток выпадал с другой стороны готовый болт. Так как Джимми приходилось наблюдать за машиной и подливать масло в масленки, то он был отнесен к разряду полуквалифицированных рабочих и получал девятнадцать с половиной центов [2]) в час.

---

[1]) Отделение, в котором производится вся последующая обработка тканей после снятия их с ткацкого станка — беление, окраска и т. п.

[2]) Цент—меньше двух копеек.

Несколько времени тому назад один эксперт изучил процесс работы и вычислил, что при работе, оплачиваемой по такой цене, час обойдется на одну восьмую цента дешевле в том случае, если работа будет производиться вручную, а не при помощи специально для этого установленной машины. Поэтому в течение четырех лет работа оставалась за Джимми, и он простаивал на одном и том же месте от семи до двенадцати, а затем с половины первого до шести, и приносил домой каждую субботу вечером сумму в двенадцать долларов и двадцать девять центов. Вы, быть может, думаете, что огромный машиностроительный завод мог выплачивать для округления двенадцать долларов и тридцать центов? В таком случае вы не понимаете принципов массового производства!

А теперь совершенно неожиданно и без всякого предупреждения точно размеренный и привычный мир Джимми пришел к концу. Он был на своем посту, когда раздался свисток, но машина не пришла в движение. И вот появился мастер ирландец с кратким сообщением, что машины больше уже не будут работать, во всяком случае, не будут работать на этом месте. Нужно будет убрать их и поставить новые машины, поэтому все рабочие должны немедленно приняться за них, взяв гаечные ключи, молотки и ломы, чтобы создать новый мир. Этой работой они и были заняты целую неделю... На том месте, где в течение четырех лет Джимми производил известные движения руками, подготовлялась установка новых машин для массового производства станков для снарядов

ДОРОЖЕ ЖИЗНЕЙ.

(Э. Синклер — «КОРОЛЬ УГОЛЬ».)

Один из работавших под землей (несмотря на закон об охране детей) подростков сделал оплошность. Подросток был «тормазным», на его обязанности было подкладывать палки под колеса нагруженных вагонеток, чтобы они не сдвинулись с места. Это был маленький мальчик. Когда он подсунул палку, вагонетка уже пришла в движение. Его отбросило к стене, а тяжелая, доверху нагруженная вагонетка покатилась вниз. Человек шесть бросилось ее догонять, но к сожалению было уже поздно. Развивая огромную скорость, вагонетка докатилась до поворота, сошла с рельс и врезалась в кучу балок, балки разлетелись во все стороны, вздымая скопившуюся за несколько десятков лет угольную пыль; вагонетка зацепилась за электрический провод, посыпались искры.

И вот, в то время, как Хол разговаривал с инспектором, раздался оглушительный грохот, Хол скорее почувствовал его, чем услыхал. Воздух в комнате как будто стал живым, точно приобрел вдруг материальную силу: Хола ударило так, что он свалился на пол. Окно с треском разбилось, осколки стекла рассыпались по комнате, с потолка повалилась штукатурка.

Когда ошеломленный Хол попытался подняться, он увидал распростертого на полу инспектора. Они в ужасе взглянули друг на друга. Но прежде чем они успели стать на ноги, над головой у них раздался треск: половина потолка обрушилась, одна из балок повисла при падении. Со всех сторон раздавался грохот и треск, как будто настало светопреставление.

Они вскочили и бросились к двери, но выход загородил кусок расколовшейся балки. Они отскочили в сторону. — В подвал! — крикнул инспектор и ринулся вниз по лестнице.

Едва они спустились, как гул и грохот смолкли.

— Что это? — пробормотал Хол, еле дыша.

— Взрыв в шахте! — сказал Коттон. Спустя несколько минут они снова бросились к выходу.

К небу поднимался огромный, ослепительный столб огня и дыма. Он все увеличивался, раздавался вширь, и наконец все вокруг покрыл густым мраком. Угольная пыль и мусор дождем сыпались на деревню. Когда они наконец в состоянии были отдать себе отчет в происшедшем, они заметили, что здание шахты № 1 исчезло бесследно.

— Взлетело на воздух, господи! — крикнул инспектор.

Они ринулись вдоль по улице, оглянувшись, они увидели, что часть крыши над конторой Коттона провалилась...

Показался Картрайт, главный надзиратель. Он бежал по направлению к зданию, где находились вентиляционные машины. Коттон догнал его, за ним последовал и Хол. Здание представляло груду развалин; гигантский воздушный насос валялся, весь исковерканный и изломанный, на расстоянии ста шагов от здания. Хол был еще недостаточно опытен в горном деле, чтобы понять, что значила гибель вентиляционной машины, но он увидал, как инспектор и главный надзиратель, остолбенев от ужаса, переглянулись. Коттон пробормотал: — Ну, теперь все кончено! Картрайт стоял молча, крепко сжав тонкие губы, глаза его выражали ужас...

Холу неоднократно приходилось читать в газетах описания несчастных случаев в шахтах; но тут он видел катастрофу воочию, газетные описания облеклись в плоть и кровь. Особенно невыносимо было ему сознание своего полного бессилия чем-нибудь помочь, сознание, что в настоящую минуту бессилен был помочь весь мир; он понял это из возгласа Коттона, из слов надзирателей. Невероятно, чудовищно, — но это было так. Необходимо было установить новый воздушный насос, и ничего другого не оставалось, как выжидать до той поры, когда его доставят сюда; кроме того, когда он будет установлен и пущен в ход, придется ждать целые часы, пока из главных ходов шахты не будет окончательно удален газ и дым; пока это не будет сделано, невозможно предпринять ничего. И люди должны оставаться в шахте. Те, кто не погиб в самом начале, заползут в отдаленные выемки шахты, где они более или менее будут защищены от ядовитых газов, и будут ждать, без пищи, без воды, в удушливой атмосфере, будут ждать, ждать, пока до них не доберется спасательный отряд...

После обеда Хол встретил на улице Мэри Барк. Она уже давно нашла своего отца, который тем временем уже успел отправиться к О'Каллахану, чтобы достойным образом отпраздновать милость судьбы. Мэри озабочена была совсем другим, более серьезным делом: опасность угрожала шахте № 2. Взрыв в № 1 был настолько силен, что механизм воздушного насоса, находившегося на расстоянии одной мили отсюда, также получил повреждения. Работа насоса прекратилась. Несколько рабочих отправились к Алеку Стону с просьбой приказать поднять людей наверх. Стон отказался.

— Как вы думаете, что он сказал? — воскликнула Мэри. — Как вам кажется? «Чорт с ними, с людьми, спасайте мулов!»

У Хола совершенно вылетело из головы, что в поселке была еще и вторая шахта, в которой тоже работали сотни рабочих и подростков.

— Знают ли они о взрыве? — спросил он.

— Быть может, они слыхали грохот, но могут и не знать о том, что случилось, а надзиратели ничего не скажут им, пока не будут подняты наверх мулы...

Они достигли входа в шахту № 2...

Там в это время как раз заняты были выгрузкой мулов наверх, и надзиратели обещали через несколько времени поднять на поверхность и шахтеров...

Когда уже стемнело, показались, наконец, рабочие из № 2. Ожидавшие у выхода жены с радостными криками бросались им на шею. Хол видел, как женщины, мужья которых находились в № 1 и может быть никогда не выйдут оттуда, печально, со слезами на глазах, наблюдали за этой сценой...

Когда первое потрясение улеглось, Хол обратился к «большому Джеку» с просьбой разъяснить ему обстоятельства катастрофы. Джек был человек серьезный, начитанный, хорошо знакомый с различными сторонами индустрии (промышленности). Спокойно, не торопясь, он объяснил Холу, что обилие катастроф на этих рудниках отнюдь нельзя исключительно приписывать каким-либо особым тяжелым условиям, или особой взрывчатости газов и сухости воздуха. Катастрофы главным образом являются следствием крайнего легкомыслия и небрежности начальства, полного игнорирования им законов об охране рабочих. Закон должен «оскалить зубы», должен потребовать, чтобы семье каждого погибшего рабочего выплачивалось по тысяче долларов; интересно будет видеть, с каким усердием тогда владельцы рудников примутся изыскивать и находить предохранительные средства против «необычайных» опасностей.

При теперешнем положении вещей они отлично знают, что как бы ни велика была их вина, они искупят ее очень маленькой ценой.

Без сомнения адвокаты уже принялись за работу, и еще прежде чем будут похоронены первые жертвы, они успеют наилучшим образом поладить с семейством погибших. Они предложат какой-нибудь вдове билет для обратной поездки на родину, осиротелым детям дадут пятьдесят или сто долларов — хотите берите, хотите нет. Судом ничего не добьешься, дело настолько безнадежное, что ни один адвокат за него не возьмется...

Ночь и день прошли в томительном ожидании. Насос прибыл, но надо было еще его установить, прежде чем приступить к спасательным работам. Так как из устья шахты все еще клубился черный дым, то его накрыли сверху досками и обтянули брезентом. Надзиратели уверяли, что это необходимо, но Хол считал это верхом жестокости: замуравить рабочих и подростков в яме, наполненной смертоносными газами...

Со времени катастрофы прошло уже два дня, а насос все еще не был пущен в ход, не видно было даже приготовлений к этому. Женщины становились все истеричнее, в массах чувствовалось сильное возбуждение. Джефф Коттон вытребовал людей для поддержания порядка...

Если воздушный насос привести в движение, то сгорит уголь, но, очистив проходы от дыма, можно спасти хоть несколько человек. Надо было выбирать между имуществом и жизнью, и преступник решил вопрос в пользу имущества...

— Но ведь это убийство! — вскричал Хол.

— Нет, это — дело! — спокойно сказал Том Ольсон.

В течение всего прошлого года Хол слушал в университете лекции по политической экономии; в этих лекциях превозносилось то, что назы-

вается «частной собственностью». Частная собственность поддерживает, мол, инициативу и приучает к мудрой бережливости; частная собственность двигает колеса индустрии, позволяет расширить дело народного образования, регулирует спрос и предложение, она—основа того прогресса и богатства, которыми может гордиться Америка. Теперь Холу пришлось на деле столкнуться с этим явлением лицом к лицу; он чувствовал ее горячее дыхание, видел ее цепкие, скользящие лапы, видел, как сверкали огнем ее волчьи глаза, видел изогнутые когти, с которых струилась кровь мужчин, женщин и детей. Частная собственность угольных рудников! Частная собственность — и закрытые входы шахт! Частная собственность—и несуществующие запасные выходы. Частная собственность—и бездействующие воздушные насосы! Частная собственность—и бездействующие оросительные рукава! Частная собственность — и побои, револьверы, убийцы и каторжники, при помощи которых устраняются защитники и спасители рабочих, выгоняются вдовы из их родного пепелища! О вы, просвещенные, сытые жрецы частной собственности, в академических чертогах поющие славословия кровавому Молоху!..

ДО ПОЛНОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

(Б. Келлерман — «ТУННЕЛЬ» [1]).

Туннель вырастал, а с ним вырастала и работа. Кроме того у Аллана были свои сокровенные заботы, о которых он ни с кем не говорил ни слова. Он уже сомневался в том, что постройка туннеля будет закончена в пятнадцать лет. Конечно, при особенно благоприятных условиях это было бы возможно. Он же назначил такой короткий срок лишь потому, что, если бы он удлинил его еще на десять лет, то народ не дал бы ему денег...

Аллан проводил целые месяца в туннеле, изобретая и пробуя новые способы ускорения работы. В американских штольнях [2]) каждая новая машина подвергалась предварительному испытанию, так же, как и каждое новое усовершенствование, прежде чем оно вводилось в остальных штольнях. Там упражнялись рабочие...

Они должны были постепенно привыкать к бешеному темпу работы и к высокой температуре...

Аллан изыскивал всевозможные способы сократить расходование сил, времени и денег. Он ввел до мельчайших подробностей разделение труда. так, что каждый рабочий, из года в год, исполнял одну и ту же функцию, и в конце концов мог уже исполнять ее автоматически и все с большей и большей быстротой. У Мака Аллана были свои специалисты, обучавшие отряды рабочих и устанавливающие рекорды скорости (например, при разгрузке вагона), которые превращались уже в норму работы. Ни одной потерянной секунды уже нельзя было вернуть, и она равнялась потере целого состояния. Если человек терял в минуту одну секунду, то это составило бы при 180.000 рабочих, из которых постоянно работало в штольнях 60.000, потерю 24.000 рабочих часов в один рабочий день.

---

[1]) По фабуле романа туннель проводится под Атлантическим океаном между Америкой и Европой.

[2]) Штольня—подземная горная выработка по горизонтальному или близкому к нему направлению, имеющая выход на поверхность земли.

Аллану удалось повысить работоспособность на 5%, но все же работа подвигалась слишком медленно...

Он сменял инженеров, если они ему казались недостаточно энергичными, и назначал на их места других, не обращая внимания на толки в печати.

Аллан требовал от своих инженеров, чтобы они еще ускорили работу, так как он обязан выполнить свое обещание и окончить к сроку постройку туннеля. Как они этого достигнут — это их дело...

В ЗАВОДЕ.

(Стих. Самобытника.)

Терзающих звуков нестройные хоры,
Как демон, грохочет и стонет работа —
Кругом изможденные, мутные взоры,
Глубокие вздохи, немые укоры
И капли тяжелого, жаркого пота...
Взгляни на суровые темные руки:
В глухом напряженьи все мускулы вздулись,
Здесь люди не знают движений без муки,
Здесь люди, как ивы, повсюду нагнулись...
Вот зарево блещет, — то горны пылают,
Металл раскаленный, с хрипеньем, кругом,
В станках, надрываясь, сверлят и строгают,
То грудь прижавши, с проклятием трут...
И грубый кусок векового металла
Искусством венчается мощной рукой.
И вот он сверкает средь пышного зала,
Как гость подневольный, пред праздной толпой.
Красивою вязью сплелися узоры,
Металл, словно лед, серебристый, сверкает...
Толпа в восхищеньи! Толпа не узнает,
Что здесь, в этом блеске, туманятся взоры,
И слышатся вздохи, немые укоры,
И пот раскаленным дождем упадает...

МАШИНА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД [1]).

(Адвардс — «ТОВАРИЩ ИЕТТА».)

Посмотрите на выдувальщиков стекла. Это было отличное ремесло, не так ли? Вам не суметь выдуть стекло, если вы не прошли долгого ученья. А уж если вы этому научились, то дело в шляпе — у вас будет заработок до конца ваших дней. Чудесно, не правда ли?.. Как вдруг

[1]) Настоящий отрывок рекомендуется применять не отдельно, а в связи с последующим: «Механизация труда», — так как при капиталистическом способе производства имеют место обе противоположные тенденции: широкое применение неквалифицированного труда, с одной стороны, и необходимость использования высоко квалифицированных рабочих — с другой.

кто-то изобрел машину. Теперь выдувальщики стекла вопят о законе, регулирующем детский труд — двенадцатилетний щенок может выработать при помощи машины больше, чем двенадцать взрослых рабочих вручную.

— Вам, юнионистам, не мешало бы пойти взглянуть на машину — на автомат, который вышибет дух и из всякой другой отрасли производства. Вы увидите тогда, что произойдет с вами и с вашей «А. Ф. Т.» (Американской Федерацией Труда).

— Отец мой был маляром, работавшим «под дерево», он раскрашивал «под дерево» панели и бюро — отличное было ремесло. У него был хорошенький домишко с садиком при нем; старуха держала прислугу. Мы были прямо аристократами. Он собирался посылать меня в школу, право. Затем была изобретена машина. Отец удрал в Колорадо, а я пошел на шахту, когда мне стукнуло тринадцать лет.

— Только представьте себе на минуту машину. Она выполняет работу лучше человека, и вот маляры остаются без дела. Она обходится без ног, поэтому ей не нужны сапоги. Беда для сапожников. У ней нет головы, поэтому она не изнашивает трех шляп в год, как мой старик. Беда для шляпочников. У машины нет брюха, она ничего не ест. Это удар для мясника и пекаря — да и для фермера. Машина не болеет. Не нужно и докторов. У машины, — он сделал паузу, чтобы произвести больший эффект, — у машины нет души — ей не нужен даже и священник.

— Машина убивает союзы обученных рабочих. Она ведет к эпохе неквалифицированных рабочих...

ФАБРИЧНОЕ РАБСТВО.

(К. Маркс — «КАПИТАЛ» т. I.)

«В Дербишире, Ноттингамшире и особенно в Ланкашире, — пишет Фильден, — недавно изобретенные машины были применены на крупных фабриках, построенных близ потоков, способных приводить в движение водяное колесо. В эти места, находящиеся вдали от городов, внезапно потребовались тысячи рабочих рук; и как раз в Ланкашире, неплодородном и до сего времени слабо населенном, настоятельно сказалась эта потребность в увеличении населения. Особенно сильный спрос был на маленькие, проворные пальцы детей. Тотчас же вошло в обычай набирать учеников (!) из различных лондонских, бирмингамских и других приходских работных домов. Многие, многие тысячи этих маленьких беспомощных созданий в возрасте от 7 до 13 или 14 лет были тогда транспортированы на север. У хозяев (т.-е. у похитителей детей) вошло в обычай одевать, кормить и помещать своих учеников в домах, расположенных близ фабрик. Были наняты надсмотрщики, чтобы надзирать за их работой. В интересах этих надсмотрщиков за рабами было заставлять работать детей возможно больше, так как оплата их зависела от количества продукта, выжатого из каждого ребенка. Жестокость была естественным последствием... Во многих фабричных округах, в особенности в Ланкашире, эти невинные беззащитные создания, отданные во власть фабрикантам, подвергались самым возмутительным истязаниям. Их до смерти замучивали чрезмерным трудом... били, заковывали в цепи, подвергали самым изысканным и жестоким пыткам; истощенные голодом до последней степени, они зачастую плетью принуждались к труду... Иногда их доводили до

самоубийства... Прекрасные романтические долины Дербишира, Ноттингамшира и Ланкашира, укрытые от всякого общественного контроля, сделались мрачным убежищем истязаний и часто убийств... Прибыли фабрикантов были огромны. Это лишь разжигало их волчью жадность. Они стали практиковать ночную работу, т.-е. с наступлением ночи, когда группа рабочих, изнуренных дневным трудом, уходила спать, ее место на фабрике заступала другая группа рабочих; дневная группа отправлялась в постели, только что покинутые ночной группой, и обратно. Народное предание в Ланкашире гласит, что постели никогда не остывали...

СТАРАЯ ФАБРИЧНАЯ ПЕСНЯ.

(К. А. Пажитнов — «ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В РОССИИ».)

Лето красное проходит,
Зима морозна настает.
Зима морозна настает,
У фабричных сердце мрет,
С полуночи встает,
На работу поспеет:
На машине задремал,
Праву ручку оторвал.
Праву ручку оторвал,
К отцу — матери послал;
Отец с матерью идут,
Слезы в три ручья текут.
А в народе говорят,
Фабриканта все бранят.
Ах, постылый ты завод,
Перепортил весь народ,
Перепортил, перегадил:
Никто замуж не берет,
И ни барин, ни купец,
Ни фабричный молодец.
Тот лишь замуж их возьмет,
Кто свиней в лесу пасет...

ЖИВАЯ МАШИНА.

(Э. Золя — «ТРУД».)

Рабочие заряжали одну из печей; сперва они опустили в печь плавильники из огнеупорной, уже накаленной глины, затем при помощи воронки они всыпали по ящику кусков стали в тридцать килограммов [1]) в каждый плавильник. Плавка должна была продолжаться три или четыре часа. После этого срока наступило время вынимать и опоражнивать плавильники для произведения отливки — в высшей степени убийственной работы. Люк подошел к другой печи, где помощники

[1]) 1 килограмм=приблизительно $2^1/_2$ русским фунтам.

длинными шестами пробовали, окончилась ли плавка. Здесь он увидал Фошара, работавшего при извлечении плавильников из печи. Бледный, иссохший, с худым и словно испекшимся лицом, он все еще сохранял руки и ноги геркулеса. Он был не только изуродован ужасною, всегда одинаковой в продолжение четырнадцати лет работой, но и умственно он пострадал от исполнения роли машины с вечно одними и теми же движениями, без мысли, без самостоятельного проявления, словно он сам стал орудием для борьбы с огнем. Плечи были у него неестественно приподняты кверху, конечности чрезмерно развились, выжженные глаза как будто побелели; кроме того, он сознавал проявление в себе и умственного убожества. Не окончив первоначального обучения в школе, он шестнадцати лет попал в Пучину и только вспоминал теперь, что некогда у него был разум, теперь утомленный и постепенно все более угасающий под бременем беспощадного жернова, который он вертел, словно какое-нибудь слепое животное, под тяжестью разрушительного и отравляющего ремесла. У него оставалась только одна потребность, одна отрада, — пить, и выпивать по четыре литра [1]) в рабочий день, или, вернее, в рабочую ночь, чтобы горнило не так палило его сожженную кожу, чтобы не обратиться в пепел, вечно пить, чтобы иметь единственное последнее облегчение и окончить жизнь в счастливом бесчувствии вечного опьянения...

Когда наступило время извлечения плавильников, он сразу выпил пол-литра и после сильно намочил в общем бассейне свой холщевый фартук. Потом, одев на ноги толстые деревянные башмаки и на руки мокрые рукавицы, он поместился над самой печью, поставив одну ногу на крышку, которую только что отодвинули; передняя часть его туловища находилась в полосе нестерпимого жара, вырывавшегося из этого отверстого вулкана...

Его башмаки, рукавицы и фартук дымились, казалось, что все его тело плавилось.

Но он, не спеша, привычными к пламени глазами отыскивал плавильник, чтобы захватить его длинными щипцами; затем, внезапно выпрямившись, он тремя ровными и гибкими движениями отодвинул одну руку, скользнув ею вдоль шеста, и, пододвинув другую, свободно вытащил тяжесть в пятьдесят килограммов, считая плавильник вместе с щипцами, и опустил на землю массу ослепительной белизны, которая тотчас же начала розоветь.

И он продолжал вытаскивать плавильники один за другим, среди все более усиливающегося жара, проявляя еще больше ловкости, чем силы, двигаясь взад и вперед над пылающим огненным морем, нисколько не обжигаясь, словно не чувствуя невыносимого действия огня...

ГЛУХАРЬ.

(Вс. Гаршин — «ХУДОЖНИКИ».)

Я шел домой с Дедовым, пейзажистом...

Он, кажется, образованный человек; по крайней мере, кончил курс инженером...

Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только, когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных

[1]) 1 литр=объему одного килограмма воды = приблизительно одной двенадцатой доле нашего ведра.

чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.

— Посмотрите, какой котлище притащили, — сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел.

— Неужели у нас не умеют их делать? — спросил я.

— Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку...

Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.

— Дедов, ведь это все равно, что по груди бить!

— Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи: год-два вынесет, а потом, если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота по груди, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле — видите, красный, узкий, — так и сидеть нельзя: лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.

— Глухарям?

— Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо...

Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился...

МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА [1].

В АМЕРИКАНСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ В ПИТТСБУРГЕ.

К гигантским башням доменных печей беспрерывно подъезжают поезда с коксом и рудой, автоматически нагружающиеся и разгружающиеся. Кое-где мелькают фантастические силуэты людей в кожаных масках с синими очками. Механизация работ огромна. При входе в прокатную видишь пустынный зал, где раздается лишь гул машин и изредка показывается молчаливый, почти неподвижный рабочий. Вдруг на рельсах подкатывается железная башенка, на вершине которой виден человек с правой рукой на рычаге. Нажим на рычаг, и вдруг гул... тяжелая дверца печи сама раскрывается, приоткрывая ее огнедышащую внутренность. Новый нажим. Железные башенки погружаются в пламенное жерло, своими железными пальцами захватывают болванку в 7 тонн [2],

[1]) Из сборника французского союза металлистов. «Металлургия», Париж, 1903 год.
[2]) 1 тонна=62 пудам.

два других пальца яростно ее сжимают, выдвигают из печи и кладут на автоматически подкатывающуюся вагонетку. Вагонетка с раскаленной болванкой сама направляется к прокатным станкам, где спустившиеся сверху пальцы крана подхватывают болванку и вводят ее в промежуток между медленно вращающимися цилиндрами. Красная болванка медленно движется по циклоповской (громадной) мельнице, которая давит ее, как мягкий воск. А человек на башенке, попыхивая трубкой, движется к следующей печи, ни на минуту не прерывая работы. В $^1/_2$ часа таким путем обрабатывается 40 тонн стали. Ставшая длинной и тонкой болванка все более удлиняется и уплощается. Через 4 минуты она становится красным листом в 20 метров [1]) длины, с грохотом прокатывающимся между цилиндрами. А мастерская все время пуста. Только приглядевшись, заметишь в ее центре будочку, где скрыт человек, играющий на рояли из кнопок и рычагов и невидимо управляющий своими железными рабами. Спокойными жестами он приводит в движение все вокруг и управляет этим адом грохота, жара и света, автоматически катящимися вагонетками, как бы разумно-сознательными движениями железных пальцев кранов и раскаленных болванок. Этот человек с своей машиной и несколькими товарищами в синих очках, точно играючи, исполняют работу 300 человек. В другой мастерской, где производятся рельсы, то же самое. два человека среди огромной пустынной мастерской заставляют раскаленные болванки принимать форму рельсов. И здесь машины как будто мыслят. Черные, как бы одухотворенные, пальцы математически точно подымают болванки в 7.000 киллограммов и передвигают их к пальцам. Ни одного ненужного жеста, ни одной потерянной секунды. И тем не менее, идет дальнейшее беспрестанное совершенствование механизмов. Вводятся новые машины, еще более механизирующие труд и путем экономии нескольких секунд на каждом движении ускоряющие производственный процесс и все более увеличивающие производительность.

РУКА ДЖЭКСОНА.

(Джек Лондон — «ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА».)

— Дикарь, индеец менее жесток и менее дик, чем класс капиталистов, — начал Эрнест, и в этот момент я его искренно ненавидела.

— Вы нас плохо знаете, — сказала я,—мы вовсе не дикари и не звери.

— Докажите это.

— Как доказать это... вам? — я с трудом сдерживала свое негодование...

— Если не ошибаюсь, вы, или, что то же самое, ваш отец имеет акции Сьеррских заводов.

— Какое же это имеет отношение к делу? — почти крикнула я.

— Некоторое отношение, пожалуй, и имеет; другими словами, платье, которое вы носите, запятнано кровью; в вашей пище кровь тоже входит как приправа; с крыши вашего дома капает кровь детей и здоровых взрослых рабочих. Стоит мне закрыть глаза, и я тотчас же слышу, как она капает вокруг меня: кап, кап, кап...

Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, а я заплакала от злости. Никто никогда не обращался со мною так грубо. Я вся

[1]) 1 метр=1,4 аршина.

съежилась, чувствуя, что ему ничего не стоит ударить меня еще больнее, но в это время на тротуаре остановился какой-то человек и несколько мгновений пристально оглядывал нас. Он был высокого роста, очень бедно одет и нес на спине несколько связанных вместе бамбуковых этажерок, стульев и ширм. Он нерешительно потоптался перед верандой, не зная, стоит ли пытаться продать нам что-нибудь, или нет.

— Я знаю этого человека; его зовут Джэксон, — сказал Эрнест.

— Какой здоровяк! Ему следовало бы в это время работать, а не шататься по улицам со всякой дрянью, — холодно заметила я.

— А вы обратите внимание на левый рукав его пиджака, — тихо сказал Эрнест.

Я внимательно посмотрела на разносчика и тут только заметила, что у него не было левой руки.

— Между прочим, и его кровь капала с вашей крыши, — так же тихо продолжал Эрнест. — Ему оторвало руку на Сьеррских заводах, после чего вы выбросили его на улицу, как негодную клячу. Я говорю—вы, потому что это сделал директор, которого вы содержите на фабрике, вы, акционеры. Этот же несчастный случай произошел с Джэксоном благодаря тому, что он хотел сберечь компании несколько долларов. В машину нечаянно попал стальной напильник; он мог кое-что поломать, и Джексон попытался вынуть его, при чем ему захватило руку зубчатыми колесами и размозжило до самого плеча. У Джэксона в то время была жена и трое детей.

— Но компания его, конечно, вознаградила?

— Ничего подобного! Мало того: она приняла все меры к тому, чтобы он проиграл иск за увечье, который он предъявил к ней. У компании для этой цели имеется несколько опытных адвокатов...

— Однако, коль скоро суд отказал ему в иске, значит для этого имелись основания...

— Знаете что, мисс Куннингам?.. Займитесь делом Джэксона и постарайтесь сами доискаться правды...

— Я решила это сделать и без вашего совета, — сухо отвечала я...

Я не подозревала, какое влияние окажет на всю мою последующую жизнь рука злополучного Джэксона...

Джэксон оказался человеком тихим, смиренным, даже чересчур смиренным... Однако, несмотря на все его смирение, в нем чувствовалась какая-то затаенная горечь...

— Каким образом попали вы рукою в машину? — спросила я.

Он задумчиво посмотрел на меня, покачал головою и пробормотал:

— Не знаю. Просто так случилось...

— Вы были невнимательны?

— Нет, этого нельзя сказать. Я работал сверхурочно и чувствовал себя утомленным. Я прожил на фабриках семнадцать лет и убедился в том, что большая часть несчастных случаев происходит перед самым гудком об окончании работ. В течение последнего часа, перед гудком, их происходит больше, чем за весь день. Когда человек проработает несколько часов подряд, то движения его делаются медленными и тяжелыми. Сколько людей было убито и изувечено при мне!

— Неужели много?

— Сотни, и не только взрослых, но и детей...

По вопросу об его иске он мог сообщить мне очень мало нового. По его мнению, показания директора и главных мастеров, решившие дело в пользу компании, были не совсем правильны. Я и решила поговорить с этими господами.

Я повидалась с адвокатом, с двумя старшими мастерами и с директором фабрики и убедилась в том, что в словах Эрнеста была значительная доля истины... Оказывалось, что все показания свидетелей могли быть использованы только противной стороной; что все боялись ссориться с могущественной компанией...

Директор фабрики, Генри Даллас, злобно посмотрел на меня своими хищными глазами и категорически отказался отвечать на мои вопросы. Я так и ушла от него ни с чем, и отправилась к старшему мастеру, Джемсу Смиту... Он не стесняясь высказал мне свое возмущение по поводу того, что компания выбрасывает на улицу людей, потерявших трудоспособность на службе.

— Но компания раз навсегда постановила бороться со всеми требованиями увечных и не уступать никому. Это означает для акционеров несколько лишних сотен тысяч дивиденда в год.

При этих словах я тотчас же вспомнила про последний дивиденд, полученный моим отцом, на который для меня было куплено прекрасное новое платье, а для отца — новые книги. Вспомнились мне также слова Эрнеста о том, что мое платье запятнано кровью, и внутренно я невольно вся съежилась от этой мысли...

После разговора со Смитом я отправилась к отцу в контору и там неожиданно застала Эрнеста...

— Я ознакомилась с делом Джэксона, — сказала я... — Я чувствую, что дорогие платья больше никогда не будут доставлять мне такого удовольствия, как раньше...

— Однако, и простая дерюга тоже не свободна от крови, — продолжал Эрнест. — Вы не знаете, что делается, например, хотя бы на ютовых [1]) фабриках. Положение дел всюду одинаково. Наша хваленая цивилизация насквозь пропитана кровью, и никто из нас не старается избегнуть запачкаться этой кровью. С кем вы виделись?

Я рассказала ему про свои встречи и разговоры.

— Да, ни один из них не свободен... Мы все так или иначе привязаны к промышленной организации общества. С некоторыми из ее рабов вы уже говорили; поговорите с репортерами, замолчавшими дело Джэксона; поговорите с издателем газет, и вы увидите, что все, решительно все являются рабами промышленной системы.

МАШИНА НА СЛУЖБЕ У ВОИНСТВУЮЩЕГО КАПИТАЛА.

(К. Маркс — «КАПИТАЛ», том I.)

Машина действует не только как непреодолимый конкурент, постоянно готовый сделать наемного рабочего «излишним». Капитал громогласно и тенденциозно возвещает о ней как о силе, враждебной рабочему, и пользуется ею как таковой. Она становится самым мощным боевым орудием для подавления периодических возмущений рабочих, стачек и т. д., направленных против самодержавия капитала...

Прежде всего мы напомним сельфактинг-мюль (мюль—машину), потому что она открывает новую эпоху автоматической системы.

В своих показаниях перед комиссей о трэд-юнионах Насмит, изобретатель парового молота, делает следующее сообщение о тех усовершен-

---

[1]) Юта—джут — индийская пенька, волокна индийской конопли.

ствованиях в машинах, которые он ввел вследствие большой и продолжительной стачки машиностроительных рабочих в 1851 году: «Характерная черта наших современных механических усовершенствований — введение самодействующих рабочих машин. Теперь механическому рабочему приходится не самому работать, а лишь наблюдать за прекрасной работой машины, что доступно всякому подростку. В настоящее время устранен весь класс рабочих, которые зависят исключительно от своего искусства. Раньше у меня на одного механика приходилось четыре подростка. Благодаря этим новым механическим комбинациям я сократил число взрослых мужчин с 1.500 до 750. Следствием было значительное увеличение моей прибыли».

Об одной машине для печатания красками в ситцепечатных заведениях Юр говорит: «Наконец капиталисты постарались освободиться от этого невыносимого рабства (т.-е. от тягостных для них условий договоров с рабочими), призвав на помощь рессурсы (источники) науки, и скоро они были восстановлены в своих законных правах, — правах головы над другими частями тела»... Это не мешает ему приглашать фабричных рабочих к благодарственной молитве провидению за то, что оно посредством машин «создало им досуг для размышления о своих не умирающих интересах».

МАШИНАМ.

(Стих. Андрея Дикого.)

Мы не вас ненавидим, заводы,
Злобы против машин не таим.
И не шахт подземелья и своды
Мы в работе проклятьем клеймим.

Нам шкивы [1]) и приводы покорны:
Взмах руки или натиск плеча —
И погасли вагранки [2]) и горны,
Как от буйного ветра свеча.

Взмах руки — и безмолвны металлы,
Раздраженно пары не свистят,
И холодного шлака кристаллы
В черных топках бездушно блестят...

Также — знаем, что наши печали
И станкам и машинам близки:
Сколько раз они гневом звучали
В дни тяжелой рабочей тоски!..

Как прибой у подножья утеса
Мерно бились над нами ремни,
Напевали любовно колеса
Про грядущие, новые дни...

Мы в союзе с огнем и металлом,
Созидая, сольемся в одно,
Всюду в жизни, в великом и малом
Неразлучно нам быть суждено...

---

[1]) Шкив — колесо, приведенное в движение бесконечным ремнем.
[2]) Вагранка — печь для переплавки чугуна.

ГУДКИ.

(Алексей Гастев.)

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего.

Мы когда-то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.

А теперь утром в восемь часов кричат гудки для целого миллиона.

Теперь мы минута в минуту начинаем вместе.

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение.

Первые наши удары гремят вместе.

О чем же поют гудки?

— Это утренний гимн единства!..

IV

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

(К. Маркс — «КАПИТАЛ» т. I.)

При поверхностном рассмотрении буржуазного общества плата рабочего кажется ценой труда, определенным количеством денег, уплачиваемых за определенное количество труда. При этом говорят о стоимости труда, и ее денежное выражение называют необходимой, или естественной, ценой труда... Но что такое стоимость товара? Предметная форма затраченного на его производство общественного труда. Чем измеряем мы величину этой стоимости? Величиной заключающегося в ней труда. Чем же могла бы определяться стоимость, например, двенадцатичасового рабочего дня? Очевидно лишь 12 часами труда, содержащимися в двенадцатичасовом рабочем дне; но это плоская тавтология [1]).

Для того, чтобы быть проданным на рынке в качестве товара, труд, конечно, должен существовать до этой продажи. Но если бы рабочий имел возможность дать своему труду самостоятельное существование, он продавал бы созданный трудом товар, а не самый труд...

Фактически на товарном рынке владельцу денег противостоит не труд, а рабочий. Товар, продаваемый последним, есть его рабочая сила. Последняя уже не принадлежит рабочему в тот момент, когда действительно начинается его труд, и, следовательно, более не может быть им продана...

Так как стоимость труда есть лишь иррациональное (противоречивое) выражение для стоимости рабочей силы, то само собой понятно, что стоимость труда всегда должна быть меньше, чем вновь созданная трудом стоимость, потому что капиталист всегда заставляет рабочую силу функционировать дольше, чем это необходимо для воспроизводства ее собственной стоимости...

Форма заработной платы стирает всякие следы разделения рабочего дня на необходимый и прибавочный, на оплаченный и неоплаченный труд. Всякий труд представляется оплаченным трудом. При барщинном труде труд крепостного крестьянина на самого себя и принудительный труд его на помещика различаются между собой самым осязательным образом, в пространстве и времени. При рабском труде даже та часть рабочего дня, в течение которой раб возмещает лишь стоимость своих собственных средств существования, в течение которой он фактически работает лишь на самого себя, представляется трудом на хозяина. Весь его труд представляется неоплаченным трудом. Наоборот, при системе наемного труда даже прибавочный или неоплаченный труд кажется оплаченным. Там отношение собственности скрывает работу раба на себя самого, здесь денежное отношение скрывает даровую работу наемного рабочего.

Тавтология — повторение одной и той же мысли однозначущими словами.

Понятно поэтому, какое громадное значение имеет превращение стоимости и цены рабочей силы в форму заработной платы, т.-е. в форму стоимости и цены самого труда. На этой внешней форме проявления, скрывающей истинное отношение и создающей видимость отношения прямо противоположного, покоятся все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все порождаемые им иллюзии свободы...

ПОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА.

(А. С. Фролов. — «ПРОБУЖДЕНИЕ».)

Как-то утром администрация фабрики вывесила объявление, что отныне-де расчет с рабочими будет производиться для удобства конторы не по субботам, как раньше, а первого и пятнадцатого числа каждого месяца.

— Каково, — возмутились рабочие, в особенности старики, — конторским «гаврилочникам» удобней книги писать будет, а ты как хочешь! Всю жизнь получал деньги по субботам, а теперь, изволь радоваться, в число, как чиновник. Да ежели пятнадцатое твое придется в понедельник, когда же я на базар-то пойду — ночью? Аль воскресенья дожидаться! Нет, ребята, это не резон. Такого закона нет.

— Знамо, нет, — вторили другие. — Это мы с понедельника, дожидаясь базара, все деньги пропьем. Ишь до чего додумались, получку в число давать! Надо к фабричному инспектору иттить — и весь разговор.

— Конечно, к инспектору.

— К инспектору, к инспектору, — раздались голоса.

— Ему прямо надо сказать, что от такого распоряжения и в баню никогда не попадешь. Пусть в число получают уж чиновники, а нашему брату, мастеровому, испокон веков положено в одну субботу на хлеб брать, а в другую — расчет.

В это время прибежал сверху пожилой рабочий Васька Сюсюка и, запыхавшись, на всю мастерскую крикнул:—Бросай работу, ребята!

Николай Ворона, не зная еще, в чем дело, бросился в токарную останавливать токарей.

— Остановились, — радостно сообщил он, прибежав в мастерскую.

— Вся фабрика стала...

— Эй, мастера! Идите наверх, — закричали с лестницы ученики, — бунтовать начали.

Гремевшие до этого мастерские, живые, как организм, вдруг сразу стихли...

В верхней мастерской, где бывал молебен, собрались буквально все рабочие. В рабочих костюмах, с засученными рукавами, с еще не высохшим потом на лбу и спине, это были не те загнанные люди, которых час тому назад можно было поставить на колени, нет, это были орлы, почувствовавшие силу своего взлета: глаза горели, мускулы рук и лица трепетали от возбуждения. В отдельности каждый был слаб, хил, мал и совершенно не знал, в чем дело, но вместе собранные огоньки-рабочие разжигали друг друга, образуя большое пламя самозащиты. Высокий Афанасьев был в середине собравшихся; около него сгрудились старые мастера, и все о чем-то беседовали. Остальные стояли молча и ждали, что разрешится все это только Афанасьевым...

Став на возвышение, Афанасьев заявил, что рабочие отказываются получать получки в число, а посылают депутацию к инспектору, требуя выдачи получки по субботам. Впредь до ответа, рабочие работать не станут и уйдут с фабрики.

— Домой, домой! Не хотим работать! Довольно!

И все пятьсот человек — ребятишки впереди, подручные за ними, а старики-мастера сзади, двинулись из мастерской к запертым воротам...

Разбрелись кучками, тихо, идя, останавливались, оглядывались, точно не верили самим себе, что бросили работу.

Совершенно новым явлением показалось это дело и фабричной администрации. Она растерялась и, собрав всех своих мелких приказчиков, разослала их вечером по домам старых мастеров уговаривать, чтобы они пришли утром на работу.

Собрались все и без зова, но за работу никто не принимался. Все стояли у своих мест и чего-то ожидали. Вдруг в мастерскую вошли солдаты и заняли все входы и выходы...

Через неделю человек тридцать рабочих было уволено с фабрики, получки стали выдавать по субботам, а не в число, и я в первый раз в жизни очутился безработным и с клеймом забастовщика...

ФАБРИЧНАЯ ЛАВКА.

(А. Маликов — «НА ЗАДВОРКАХ ФАБРИКИ».)

На фабрике существовал так называемый лабаз, т.-е. магазин всяких припасов, необходимых для фабричного люда, за исключением вина и водки. Лабаз этот содержался, конечно, от хозяина... Продовольствовался рабочий люд, как хотел, за свой собственный счет; небольшой кредит под заработок контора открывала рабочим в лабазе...

Лабаз, принимая продукты, продавал некоторые чуть не вдвое дороже расценки, да притом портил их еще и подмесями...

Всюду слышны были жалобы, что из него отпускаются недоброкачественные продукты; а так как жалобы эти заявлялись не рабочими, а фабричной аристократией и, наконец, в несколько голосов были переданы самому хозяину, то ему, волей-неволей, пришлось высказаться определеннее.

— А-ах, господа! — заговорил он, протягиваясь в кресле и искусственно зевая. — Если бы вы только знали, как надоел мне этот лабаз и как бы я был рад развязаться с ним... Но как? право, не знаю...

— Устройте потребительное общество, — поймал его кто-то на слове.

— Потребительное общество?.. — переспросил он. — Что же!.. я очень рад... Пожалуй, начинайте, — произнес он несколько легкомысленно.— Помещение фабрика, во всяком случае, даст даровое и даже, может быть, на первое время откроет небольшой кредит.

Дело было выгодное для всех и потому живо закипело... Но когда проект был выработан и пришлось приступить к его осуществлению, то совершенно неожиданно натолкнулись не только на полное равнодушие к нему со стороны благодушного хозяина, но даже как будто и на желание его покончить весь этот вопрос измором.

— Вот рассмотрим, вот потолкуем; надо сообразить, господа, поосновательней; как бы, знаете, не попасть впросак, — отыгрывался хозяин...

— Конечно, этого надо было ждать,—ораторствовал после один скептик.—С какой стати хозяин поступился бы лабазом, когда он дает 30 тысяч чистого дохода? Дела-то на фабрике, сами знаете, не больно в блестящем виде... Одного товара в складах лежит на девятьсот тысяч и с рук нейдет... Ну, сболтнул на первое время, а после и спохватился... Дело понятное.

Действительно фабричные дела шли куда не бойко. Товар работался, а с рук не шел; рабочих сокращали, везде заговорили об экономии, и сам хозяин нередко жаловался на тяжелый кризис и денежный курс... Стали, наконец, замечаться такие явления, о которых прежде на фабрике не было и помину.

Рабочие начали жаловаться на болезни желудка... Оказалось, что лабаз пустил в продажу какую-то свинину по крайне дешевой цене, по 3 коп. за фунт. Рабочие накинулись на такое дешевое мясо и отравлялись. Надо было удивляться той наглости и дерзости, с какой лабаз решился на такую явную отраву людей. Мясо кишело червями и издавало отвратительный запах, но лабазник присолил его, подбавил кое-каких духов, чтобы скрасить товар; вареное, оно издавало еще больший смрад.

— Это, действительно, — говорили рабочие, — как поешь этой свинины, так и начнешь кататься от живота.

— Зачем же вы берете такую мерзость? — спрашивал я их.

— Да, ведь, мы не знали, что она такая вредная. Так, думаем, с душком малость... А больно уж дешево... Ну, каждый и нахватал побольше, потому лабазник говорил, что скоро такая цена прекратится... А теперь забрались помногу, так, знаете, — признавались они несколько конфузливо, — как-то кидать-то жалко: ведь тоже деньги плачены... Думается, съедим полегоньку...

Отобрав образцы этого товара, я отправил его к фабричному врачу, пользовавшемуся большим кредитом у хозяина, с просьбой сейчас же принять должные меры, т.-е. осмотреть лабаз и уничтожить гнилое мясо.

Правда, на другой же день продажа этой отравы была прекращена, и 250 пудов свинины, как мне поведали с некоторым сожалением рабочие, были свезены в лес и зарыты; но замечательно, что после этого ни хозяин, ни доктор, ни лабазник ни единым словом не обмолвились со мной об этом происшествии.

Я не утерпел, однако, и как-то спросил врача—получил он мою записку?..

— Да! — ответил тот холодно. — Все сделано, что нужно.

— Каким образом лабаз решился на такое злоупотребление? — спросил я нарочно, чтобы слышать, что он мне на это скажет.

Доктор пожал плечами...

— Просто недосмотр, — ответил он и вежливо раскланялся со мной...

Прошло еще с месяц. По фабрике стали ходить сначала тихо, а потом все громче и настойчивее слухи, что хозяйские дела расстраиваются, даже к рабочим проникало кой-что; среди них были жалобы, что туго расчет стала выдавать контора.

— Как бы-де какой заминки не вышло, — толковали они...

Худые слухи все росли; росли и претензии рабочих на то, что контора задерживает расчет.

Поднимался прямо уже ропот... Чтобы сколько-нибудь унять его, контора стала выдавать им записки на получение запасов из лабаза. Но, конечно, это было очень убыточно для рабочих и притом совершенно незаконно, и претензии с их стороны стали раздаваться еще сильнее.

— За каким нам лихом ваш лабаз? — говорили они. — Нам деньги нужны; что вы неволите своим лабазом?..

В ПОТОГОННОЙ МАСТЕРСКОЙ [1]).

(А. Эдвардс — «ТОВАРИЩ ИЕТТА».)

По всей восточной стороне Нью-Йорка разбросаны сотни таких мастерских, где «выжимают пот», занятых различными отраслями производства «готового платья». Иногда их помещается с полдюжины в одном и том же доме, одна над другой. Даже фабричные инспектора никогда не могут сказать наверное, сколько их всего. Они так близко идут рука об руку с банкротством, что бывает трудно проследить их путь. Часто полдюжины таких мастерских прогорает в один и тот же день, а на следующий появляется столько же новых...

Рахиль увидела объявление, в котором, в мастерскую готового платья требовались «начинающие». Послушно поднявшись вслед за сестрою по грязным ступенькам во второй этаж, Иетта вошла в длинную мастерскую, в которую была превращена обыкновенная квартира со снятыми перегородками. Это было мрачное помещение, потому что окна выходили прямо на грязноватую кирпичную стену, поднимавшуюся в расстоянии трех футов. Окна в конце мастерской выходили на Аллэн-стрит. Полотно воздушной железной дороги шло вровень с полом, и через каждые несколько минут дневной свет, который, повидимому, должен был бы проходить через эти окна, застилался проносящимися мимо поездами. Весь год напролет приходилось пользоваться искусственным освещением.

Внизу на улице кричали и плакали дети; разносчики с ручными тележками скрипучими, грубыми голосами выкрикивали свои товары; тяжелые платформы, нагруженные дребезжащими жбанами с молоком, с заглушенным грохотом катились по булыжной мостовой... Но ни одного из этих звуков не доходило до длинной, темной комнаты, отделенной от улицы двумя маршами лестницы. В одном углу мастерской дешевый электромотор передавал энергию на два вращающихся вала, шедших под потолком. Те, в свою очередь, при помощи целого лабиринта бегущих с шумом ремней передавали ее дюжине швейных машин, пущенных полным ходом. Шум стоял такой, словно в мастерской ни один из многочисленных подшипников никогда не смазывался, словно все многочисленные зубчатки не были пригнаны как следует. Шум походил на какое-то осязаемое вещество, которое можно было пощупать. Для уличных звуков в помещении не оставалось места. Если бы архангел Гавриил затрубил в трубу внизу на тротуаре, то безмолвные женщины, согнувшиеся над работающими полным ходом машинами, ничего бы не услышали и пропустили бы воскресение из мертвых. Ошеломленная этой странной и немного пугающей обстановкой, Иетта крепко схватила кузину за руку. Но отважная Рахиль не смутилась бы даже во львином рву Даниила. Она смело направилась в «контору». Там уже стояло в очереди около полдюжины женщин, все старше Иетты. Хозяин — «босс», кругленький человечек с черствым взглядом, не знал еще, на ком остановить свой выбор. Едва только он увидел молодых девушек, как перестал интересоваться женщинами.

— Это моя двоюродная сестра, Иетта Раевская, — сказала Рахиль. — Из нее выйдет хорошая начинающая работница.

— Работы не боится? — спросил он грубо.

---

[1]) Рекомендуется вернуться к настоящему отрывку при разборе застойной формы относительного перенаселения.

Иетта до того боялась всего, что утратила дар слова. Но Рахиль ответила за нее, разразившись целым потоком самой чрезмерной, самой изысканной похвалы.

— Доллар в неделю, пока учится, регулярная поштучная плата, когда получит машину.

Одна из более пожилых женщин начала рыдать, увидя безнадежность собственного положения — все боссы предпочитают юных.

— Молчать! — проревел босс.—Беру девушку. Остальные проваливайте!

Так была нанята Иетта. Сперва работа состояла в переноске, складывании и упаковке кип жилетов. Ноша была очень тяжелой для ее непривычной спины. Но ей удалось справиться с тягостями первого дня и последовавших за ним, и постепенно она привыкла к работе. После продолжительного ожидания она была посажена за машину.

Ум и молодость кое-что значат даже при такой тяжелой механической работе, какую исполняют в «потогонной мастерской». Пальцы Иетты еще сохраняли свою гибкость. Очень скоро она овладела рутинными движениями. Кроме того, она справлялась быстрее других женщин, когда случались такие происшествия, как разрыв нитки. В более короткий, чем обычно, срок она перешла к самой ответственной работе и сделалась «спидером» — самой проворной работницей, получая за это двойную плату... Сперва ее заработок был так ничтожен, когда она еще только «начинала», что в предоставлении ей теткой пристанища была известная доля благотворительности. Ей постоянно напоминали о необходимости зарабатывать побольше. Но прежде чем миновала эта побудительная причина, прежде чем ее заработка стало с избытком хватать на стол и кров, она подпала под власть «Скорости». Это была основная нота всей ее пробуждающейся жизни. Каждая мелкая подробность окружавшей ее в «потогонной» мастерской обстановки, болтовня подруг, работающих за одним столом, воющая песня передаточных ремней, даже испорченный воздух — все это служило лишним толчком, заставлявшим с бо́льшим проворством приналечь на работу, побуждавшим все больше увеличить быстроту... Четыре женщины за каждым столом составляли «запряжку». Производя различные манипуляции над одним и тем же предметом, они должны были работать в самом теснейшем контакте друг с другом. Если одна отставала, то все теряли деньги из-за задержки. Им платили «поштучно», и долгие часы работы в течение семи дней в неделю приносили заработок, дававший такой бесконечно малый перевес над расходами на самые насущные потребности, что потеря нескольких центов в день была целой трагедией для более пожилых женщин, которым нужно прокормить детей.

Иетта, самая молоденькая из всех, была номером первым за своим столом. Номер второй звали мистрисс Леви... Она тупо сидела за машиной; толстое тело, потерявшее всякую форму, было почти неподвижно — двигались только одни руки. Лицо было лишено всякого выражения... Напротив нее мистрисс Вайнштейн подхватывала жилеты, по мере того как они выходили из-под машины мистрисс Леви. У нее была тоже крупная фигура, но она была немногим старше тридцати лет и только что начала работать. Она была веселого нрава, и в ней еще сохранилось много юной прелести... Но если номер второй отличался необычайно крепко сколоченным телом и флегматичным темпераментом — такие люди меньше всего страдают от системы выжимания пота — и если номер третий был наделен от природы веселым, жизнерадостным характером, то у мистрисс Коген, занимавшей место в конце стола, не было ни одного из таких преимуществ. Не так давно перед тем она была номером первым — чудом быстроты.

Потом она начала кашлять. Нельзя кашлять и в то же время не прерывать правильного ритма работы, которым обусловливается скорость. В течение нескольких месяцев она спустилась до своего нынешнего места за столом... Уже раз или два поток жилетов был для нее слишком стремительным. Джек Гольдфогль, теперешний хозяин, грозил, что он ее рассчитает... Более крупные капиталисты жестоко его эксплоатировали, и единственная надежда Джэка на успех заключалась в том, чтобы чудом добиться еще более ужасной эксплоатации своих работниц...

Боссы часто менялись. Менялись и работницы. Но самый процесс работы не изменялся, если не считать, что каждый новый хозяин урезывал поштучную плату и повышал степень скорости...

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРЕСС.

(Э. Синклер — «ДЖУНГЛИ».)

Когда при первом своем посещении скотобойни Юргис глядел с высоты галлереи на бойцов, он поражался той ловкостью и быстротой, с которой они убивали скот, действуя с правильностью машины. Он не подозревал, сколько ужасного напряжения требовала эта работа, пока ему самому не пришлось встать в ряды рабочих.

Тогда только он правильно оценил этот труд. Для того, чтобы выдержать темп, с которым шла эта работа, требовалось постоянное напряжение всех сил рабочего, с момента падения первого быка до полудня и от половины первого до бог знает какого часа после полудня или вечера. Ни одной секунды отдыха, — ни для рук, ни для глаза, ни для мозга.

Юргис увидел, каким образом достигалось это. В общем ходе работ были отдельные действия, определявшие их темп; эти особые действия поручались выдающимся рабочим, хорошо оплачиваемым и часто чередовавшимся. Их нетрудно было отличить от остальных. Они работали под непосредственным наблюдением помощника мастера и не щадили сил. Эта система работы называлась «подгонять рабочих». Если кто-либо из рабочих не поспевал за другими, то на улице были сотни других, которые только о том и просили, чтобы дать им испробовать свои силы...

Одним из первых вопросов, возникших у Юргиса, был вопрос о синдикатах. Он не имел о них никакого понятия; ему объяснили, что синдикаты это — ассоциации (союзы), основанные рабочими для защиты своих прав. Юргис спрашивал своих товарищей, что они подразумевали под своими «правами», и вопрос этот с его стороны был вполне искренен, так как он не знал за собой иного права, кроме права зарабатывать себе пропитание и делать то, что ему велели. Этот наивный вопрос раздражал его собеседников, называвших его глупцом...

Мало-по-малу, он, наконец, понял главное требование рабочих — не ускорять темпа работы. Они, насколько могли, заставляли замедлять его, утверждая, что многие рабочие не в состоянии выдержать такого напряжения; к тому же эта система истощала людей...

Летом бойни работали полным ходом, и Юргис зарабатывал больше. Но во всяком случае его заработок был ниже прошлогоднего, так как пэкеры[1]) пригласили большее число рабочих; каждую неделю появлялись

[1]) Пэкеры — владельцы мясных боен в Чикаго.

новые люди. Это была целая система. Они старались, чтобы все эти рабочие пробыли на заводе до следующего мертвого сезона и чтобы их плата постепенно понизилась. Таким образом все рабочие Чикаго проходили через мастерские завода и знакомились с его работами, а во время стачки рабочих у пэкеров всегда была целая армия кандидатов на их места, которых они сами выучили ремеслу. А в ожидании этого случая их содержали в такой бедности, которая исключала всякую мысль о забастовке.

Но было бы ошибкой думать, что весь этот добавочный штат рабочих облегчал кому-нибудь работу. Наоборот, скорость и условия производства становились со дня на день тяжелее. Ежедневно приглашались новые труженики, которые увеличивали скорость работы каждого рабочего.

Эту систему можно было сравнить с средневековым орудием пытки, в котором ежедневно подвинчивали понемногу нажимной винт. Каждый день приглашались исключительно ловкие, хорошо оплачиваемые рабочие, которые ускоряли темп работы; своим примером они принуждали других рабочих приспособляться к ним.

Постепенно уменьшали время, назначенное для отдельных работ, не уменьшая поштучной платы; но раз рабочий привык к новой скорости, поштучную плату уменьшали, чтобы средняя заработная плата не превышала платы при прежних условиях.

В отделе изготовления ящиков эту штуку проделывали так часто, что работницы были доведены до отчаяния. В течение двух лет их заработок уменьшился на одну треть...

ОБКРАДЫВАНИЕ РАБОЧЕГО.

(Э. Синклер — «КОРОЛЬ УГОЛЬ».)

Было одно такое место на руднике, где рабочие никак не могли молчать, где чувство жестокой обиды отгоняло от них всякий страх...

Это — разгрузочный пункт, где прибывавший из шахты уголь взвешивался и записывался. Каждый углекоп, закончив свой рабочий день, едва выйдя из подъемной клети, спешил сюда. Тут висела таблица, на которой стоял номер рабочего и отмечался вес вагонеток, заполненных им в течение дня углем. И каждый шахтер, как бы невежествен он ни был, все-таки достаточно знал по-английски, чтобы прочитать цифры на таблицах.

Мало-по-малу Хол узнал, какие драмы разыгрывались на этом месте. Большинство рабочих, мельком взглянув на таблицу, молча плелись прочь. Другие ворчали себе под нос или громко бормотали что-то друг другу на своем варварском жаргоне. Из пяти рабочих всегда находился один, говорящий по-английски, и не проходило вечера, чтобы тот или другой не вышел из себя, не обратился бы с кулаками к небу или к весовщику — конечно, за его спиной...

Однажды во время одной из таких сцен Хол впервые обратил внимание на Мике Сикориа, старого седого словака, проведшего двадцать лет своей жизни в рудниках этого округа. Глубокой горечью нанесенной обиды дышали слова Мике Сикориа, когда он выкрикивал свои цифры подсчета:—Девятнадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать! Послушайте, да разве это мой вес? Вы хотите заставить меня поверить, что это мой вес?

— Это ваш вес, — холодно сказал весовщик.

— Тогда, клянусь Иудой, весы врут!..

— Убирайтесь, — сказал весовщик и отвернулся от него.

— Но, сударь, — вскричал старый Мике, и вся душа его вылилась в словах, — что это за жизнь, сударь? Работаешь, как скотина, и ничего за это не получаешь. Я жгу собственный порох — на полдоллара в день, — что вы на это скажете? Ломать, копать — и ничего не получать за это! Пред вами, клянусь Иудой, бедный человек, у которого тело изнурено до смерти, крови уж нет! Вы заставляете меня голодать, говорю я. Должен же я есть, неправда ли?

Вдруг весовщик на него накинулся: — Убирайтесь к чорту! — заорал он. — Если вы недовольны, просите расчет и проваливайте! Заткните глотку, иначе я сам вам ее заткну.

Старик, весь дрожа, отступил и замолк...

После ужина Хол разыскал его. С ним легко было сойтись, и он оказался интересным собеседником. Благодаря его словоохотливости, Хол имел возможность мысленно ознакомиться с различными окрестными рудниками. У старика был вспыльчивый, необузданный характер, который он никак не мог сдержать; из-за этого ему постоянно приходилось переходить с места на место, с одного рудника на другой. Впрочем, говорил он, все они одинаковы; повсюду мошенническим образом уменьшали заработок шахтера...

Надзиратель указывал ему участок, и он подряжался извлекать из него уголь, при чем за каждую тонну чистого угля получал сорок пять центов. Некоторые участки бывали прибыльны, но попадались и такие, где можно было копать неделями и не заработать даже на пропитание.

Все зависело от большего или меньшего количества камней и шифера [1]), извлекавшихся вместе с углем. Если пласт бывал тонок, то приходилось снимать сверху фут или полтора посторонней породы, вывозившейся на особых тележках. Такая работа называлась «чисткой» и за нее ничего не платили. От поры до времени приходилось пробивать новые ходы, или выбирать породу, или же прокладывать рельсы для вагонеток; иногда жила упиралась в скалу — место, где вместо угля находился толстый слой камня; чтобы рабочий мог добраться до угля, необходимо было этот камень убрать. Вся подобная работа называлась «мертвой работой» и служила источником вечных споров. В прежнее время Компания оплачивала ее, теперь же, с тех пор, как она почувствовала себя в силе, она отказывалась платить за нее...

Было еще нечто, объяснил старый Мике, в чем шахтер совершенно зависел от доброй воли других. Это было выкрадывание нагруженных вагонеток. У каждого шахтера было известное количество блях, на которых стоял его номер. При сдаче им угля бляха привешивалась за крючок к наружной стенке вагонетки. Во время длинного пути к разгрузочному пункту нередко случалось, что бляхи перевешивали с одной вагонетки на другую, и в таком случае шахтер мог считать свою вагонетку потерянной. В некоторых шахтах номер писался просто мелом, и ничего не было легче, как стереть его и написать другой. Хол заметил, что легко предотвратить перевешивание блях, снабдив их висячим замком. На это Мике возразил, что это обошлось бы Компании долларов в двести. Не было никакой возможности предупредить происходившее из года в год похищение вагонеток.

— По вашему, вагонетки выкрадывают надзиратели? — спросил Хол.

— Иногда надзиратели, иногда их приятели, а иногда и сама Компания.

---

[1]) Шифер — сланец.

В Нор-Тале, уверял старый словак, крадет сама Компания. По его словам, не было никакого смысла сдавать больше шести вагонеток—все равно, больше шести в счет не ставили. Не имело смысла также грузить на вагонетку больше одной тонны, так как все равно их никогда точно не взвешивали — весовщик вскользь пропускал их по весам, тем более, что у него было предписание не отмечать больше определенного веса. Мике рассказал для примера, как один итальянец, в виде опыта, нагрузил свою вагонетку так полно, что она еле прошла в помещение. Он неотступно следовал за ней до разгрузочного пункта и подсмотрел, что весы показали шесть тысяч пятьсот фунтов [1]). Ему, однако, уплатили всего за три тысячи пятьсот. Когда он заявил протест, его арестовали. Мике не видал, как его арестовали, но когда он вышел из шахты, итальянца и след простыл, больше его не видели...

Все эти условия превращали угольный район в царство отчаяния. Тем не менее были люди, которым все же удавалось кое-как устроить свою жизнь, они содержали семью и жили в приличной домашней обстановке. Если кому-нибудь удавалось счастливо избегнуть всяких несчастных случайностей, или если он не слишком рано женился, не наплодил слишком много детей, если он смог устоять против пьянства, которому очень многие предавались от переутомления и невыносимого однообразия жизни, а главное, если ему удавалось быть в милости у надзирателя, — тогда он мог обзавестись собственным хозяйством и даже скопить кое-какие сбережения...

УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛЯХ.

(Э. Золя — «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ».)

(Владелец универсального магазина в Париже) Мурэ, заметив, что товары, вышедшие из моды, так называемые «соловьи», раскупаются быстрее, когда прибыль, получаемая приказчиками с продаваемых ими вещей, увеличена, построил на этом наблюдении новую статью дохода. Теперь он поставил интересы своих продавцов в зависимость от всего, что они продавали, он позволял им брать известный процент с каждого малейшего куска материи, с малейшего проданного ими предмета. Этот механизм произвел целый переворот в торговле новомодными товарами, он создал некоторую борьбу за существование между приказчиками, что способствовало преуспеянию их хозяев. Такая борьба сделалась в конце концов любимой его формулой, тем принципом организации, который он применял всегда и везде. Он разжигал страсти, вызывал проявления силы, предоставлял сильным пожирать слабых, и тучнел, поглощая результаты этой борьбы интересов.

Образец тетради был одобрен: сверху, и на оставшемся листке, и на отрывном было обозначено отделение и номер продающего; затем, с обеих сторон сделаны были столбцы для обозначения количества метров, для названия предметов и для обозначения цен. Продающий должен был только подписать счет, прежде чем нести его в кассу. Таким образом, контроль становился крайне легким, достаточно было сверить счета, переходившие из кассы в учетную контору, сличив их с теми билетиками, которые оставались в книжке у приказчиков. В конце каждой недели продавцы могли, таким образом, получать свои проценты и свое вознаграждение, не подавая повода ни к каким ошибкам.

---

[1]) 1 английский фунт = 1,1 русского фунта.

— Нас будут теперь меньше обкрадывать,—заметил с удовольствием (компаньон Мурэ) Бурдонкль. — Это превосходная у вас была мысль.

— А сегодня ночью я придумал еще одну вещь,—промолвил Мурэ.— Я желаю выдавать конторщикам учетной конторы маленькую премию за каждую ошибку, которую они найдут в счетах, при их сличении... Понимаете, тогда уже мы можем быть уверены в том, что они не пропустят ни одной ошибки, тогда они скорее сами будут их изобретать.

Он принялся смеяться, пока тот глядел на него с восхищением. Это новое применение борьбы за существование приводило его в восторг, у него был талант к административной механике, он мечтал о том, чтобы организовать таким образом все заведение, основав его на эксплоатации аппетитов других людей. Таким образом их собственные аппетиты могли пользоваться полнейшим спокойствием. «Если вы хотите заставить людей выказать всю свою силу, — говорил он зачастую, — и даже вытянуть из них некоторую долю честности, вы должны прежде всего дать им повод к соревнованию на почве их личных потребностей».

В ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНЬЕ.

(По пьесе Гейерманса «ГИБЕЛЬ НАДЕЖДЫ».)

Действующие лица:

Лебуа, судовладелец, лет 45.
Герард, матрос, уволенный с военной службы за нарушение дисциплины, сильный, очень красивый мужчина, 26 лет.
Бертран, его брат, 19 лет.
Катерина, мать Герарда и Бертрана, 61 года.
Жанна, ее племянница, живая, красивая девушка.
Симон, старший столяр по ремонту.
Мариетта, невеста рыбака Мишеля.
Сара, вдова рыбака, средних лет.
Жилль, старик, деревенский скрипач.
1-й и 2-й жандармы.

Действие происходит в рыбацкой деревеньке на берегу Северного моря.

Комната в домишке Катерины, очень скромно обставленная. Налево дверь и две кровати. Направо комод, на нем на мраморной доске фигурки святых, вазочки и портреты в рамках. Камин. В глубине в правой стене дверь со щеколдой, ведущая в каморку, служащую кухней, сбоку шкапчик, вделанный в стену, со стеклянными дверцами. Прямо против сцены старинное с широкой рамой окно; на подоконнике несколько горшков с цветами, на стене клетка с птичкой. Посреди комнаты большой старинный стол.

Сцена первая.

Катерина, Жанна, Симон, Мариетта и Герард.

Герард (входя). А! Можно сказать, все куры на насесте. Поклон (замечая Симона). Ты еще пьянее, Симон?

Симон (ворча). Хе... дда...

Мариетта. Оставь его.

Герард. Ишь ты, как хорошо оснастился. Еще четверть часа, дети мои... Наливай-ка, Жанна. (Он проходит между Жанной и Катериной.) За твое здоровье, мать. За твое, Жанна...

Симон (мрачно). Пусть не едут в плаванье... нет, ни за что...

Мариетта. Тш... отец...

Герард. Оставь его в покое, он никому не мешает.

Симон (разводит руками с недоумевающим видом). Пусть не едут... не едут... говорю тебе...

Мариетта (нетерпеливо). Что такое? Что ты хочешь сказать?

Симон. Киль, видишь ли ты... и потом... (уверенным тоном) никак нельзя.

Все (кроме Мариетты хохочут над ним). Ха-ха-ха-ха...

Сцена вторая.

Те же и *Жилль.*

Жилль (напгрывая старинную польку). Подайте что-нибудь за музыку, подайте, пожалуйста.

Герард. Входи сюда, старина.

Жанна. Бедный старик; он худеет день ото дня.

Жилль (продолжая играть). Прихожу раз в неделю...

Герард. Сыграй нам что-нибудь другое. Ну ее, эту чортову польку... (поет:)

Не за пьянство,
За буянство
И не за ночной грабеж...

Сцена третья.

Те же и *Лебуа.*

Лебуа (останавливается на улице, у открытого окна, слушает песню и кричит гневно). Что это за содом? (Общий испуг и подавленное молчание.) Тебя ждут на судне, чорт тебя дери! Пора отчаливать. (Он уходит рассерженный. Все подавленно молчат.)

Сцена четвертая.

Те же без *Лебуа.*

Катерина (после продолжительного молчания.) Ох, как я испугалась...

Жанна. Какая муха его укусила?

Мишель. Чорт меня побери, я даже не понял, откуда этот голос.

Сара. Глупо было голосить такие песни, когда знаешь, что господин Лебуа в двух шагах.

Катерина. Ни к чему такие песни петь...

Герард (выходя из себя). Господи! Дома я или нет? Если бы я не был так поражен его появлением, я бы его хорошенько отделал. (Передразнивая Лебуа.) «Тебя ждут на судне, чорт тебя дери!» Продолжай играть, Жилль!

(*Жилль* принимается снова играть.)

Катерина. Ну, Герард, прошу тебя. Я боюсь, что господин Лебуа... (Она делает знак Жиллю перестать играть.)

Катерина. Ты же знаешь, как я должна дорожить господином Лебуа...

Сцена пятая.

Те же и *Лебуа.*

Лебуа (быстро входя и обращаясь к Герарду). Что же, ты тоже, может статься, находишь, что лучше остаться дома?

Герард (хмуро). Это вы мне говорите?

Лебуа (гневно). Именно тебе! Я сейчас отдал приказание капитану Жироду, понимаешь?

Герард (спокойно). Этот несчастный потерял голову.

Лебуа (выходя из себя). Командир порта тоже предупрежден.

Герард (со сдержанным гневом). Наплевать мне на него и на вас. Но вы прямо с ума сошли. Какой вам чорт сказал, что я не поеду?..

Лебуа. Негодный гусенок!.. Вот и будь добр к людям. (С угрозой.) Если через десять минут ты не будешь на шхуне, я пришлю полицию взять тебя.

Герард. Он пришел меня взять... Да знаете ли вы, с кем вы говорите?

Лебуа (выкрикивая). С кем я говорю... Еще имеет нахальство спрашивать. (К Катерине.) В другой раз можешь сколько угодно меня умолять за этого бунтовщика, выгнанного из флота...

Герард. Ты умоляла за меня этого человека, мать? Прямо сбеситься можно, честное слово. Вы мне платите жалованье, я отдаю вам свой труд. А затем, мне столько же до вас дела, сколько до прошлогоднего снега.

Лебуа. Эдакая ты дрянь!

Герард (с угрозой). Только ради матери моей...

Жанна (обвивая его шею руками). Герард, Герард. (Долгое молчание.)

Лебуа (Катерине). И все это происходит у тебя... До-свиданья... (У дверей.) Катерина, Катерина, запомни хорошенько, что ты наделала... Я тебе честно уплатил по счету...

Катерина. Да что уж, это верно, сударь...

Лебуа. Видела ли ты от меня какую-нибудь обиду?

Катерина. Ох, нет, сударь, вы да батюшка...

Лебуа. И вот, оба твои сына... один отказывается плыть, а другой... Ты плохо кончишь, друг мой, я тебе это предсказываю.

Герард. На судне я — матрос, а здесь я — сам себе господин... Ведь это просто уморительно... Судовладельцу не по вкусу у меня в дому то одно, то другое! Он является под окно, как только запоешь то, что имеет несчастие ему не нравиться...

Лебуа. Пой, что хочешь, мне наплевать... Но если ты разумный моряк, да еще готов обзавестись семьей, ты должен быть благодарен, когда тебе старший советует, добра желаючи. Разве твой отец, самый смелый моряк во всей округе, разве он решался угрожать судовладельцу? Нынче молодежь даже седин не уважает!

Герард. Ах, вот что? Уважать седины! Да, когда они поседели в труде и нужде.

Лебуа (пожимая плечами). Твоя мать видела меня, когда я ребенком стоял над лоханями с миногами, обгрызая им зубами головы, на таком ветру, что уши горели.

Герард. Что же, можно вас только поздравить с этим, сударь. Вы ловко повели свои дела, высоко поднялись. Теперь вы человек состоятельный, маленький царек. Пусть будет так. Вы не злее, чем другие, подобные вам, у всех у вас одинаковый нрав, имена только разные. Но в своем доме я хозяин и не допущу, чтобы вы вмешивались в мои дела. Мой отец был не таков. Что ж, это только доказывает, что времена меняются, что может быть мои сыновья увидят лучшие дни; может быть им не придется, как пришлось мне 12 лет тому назад, стоять перед хозяином, попивающим вино перед камином у денежного сундука, стоять в слезах, умоляя сообщить что-нибудь об отце и братьях. Может быть, им не придется выслушивать брань хозяина за «надоедливые приставания»; может быть, их не прогонят со словами: «узнаете в свое время» (он ударяет кулаком по столу)...

Лебуа. Ты говорил со мною необыкновенно дерзко. Пусть ты у себя дома, но если ты свой нрав покажешь на «Доброй Надежде», то там тебе покажут свое место.

Герард. Это всякому младенцу известно.

Лебуа. А когда ты будешь постарше и поразумнее, тебе стыдно будет вспомнить про свои дерзости... Судовладелец... попивая вино... у камина. Ишь ты!

Герард (насмешливо). И около денежного сундука...

Лебуа (гневно). И с заботами, о которых ты и понятия не имеешь.

Герард (холодно). А кто добывает рыбу? Кто рискует своей шкурой ежечасно? Кто по пять, шесть недель не сбрасывает одежи? У кого руки вечно потрескавшись и изранены? У кого нет капли пресной воды, чтобы промыть раны? Кто спит в трюме вповалку, точно скот? Кто оставляет в нищете матерей и жен? Вот нас сейчас едет 12 человек, а со всего лова мы получим 25%, а вы — 75%. Мы несем весь труд, а вы спокойно остаетесь дома. Судно вы застраховали, а мы... тем хуже для нас, если случится несчастие, мы даже премии никакой не стоим.

Катерина (стараясь его успокоить). Герард, Герард!

Лебуа. Вот забавный парень! Ты хоть кого рассмешишь, тебе бы клоуном поступить в цирк... Двадцать пять на сто ему недостаточно...

Герард. Не вашими щедротами мы питаемся. Участие в прибылях нам приносит в лучшем случае три рубля в неделю, т.-е. по полтиннику в день. В лучшем случае — полтинник в день за все: тут и укладка свежей рыбы в бочки, чтоб удовлетворить тонкий вкус буржуазии, тут и соление, и все... Ха-ха... Полтинник, если все идет хорошо. А если нет? О, вы все прекрасно понимаете, как выгодно для вас заинтересовать нас в прибылях. (Перед окном показываются старые и молодые рыбаки.) Сейчас иду! (Рыбаки почтительно кланяются Лебуа.)

Лебуа. Счастливый путь, друзья мои. Передайте капитану... Нет, впрочем, не передавайте ничего, я сам иду... (Молчание.) Двадцать пять минут третьего. Еще задержусь на минутку, чтобы досказать тебе пару слов. Раза три уж собирался это сказать, да поневоле забудешь, когда ты поминутно меня прерываешь. Вот, когда ты уляжешься сегодня ночью, «как скот», по твоему выражению, — постарайся сообразить, насколько я рискую, когда улов плох, когда сети пропадают, когда происходят крушения, когда молния разбивает снасти, когда судно дает течь, или еще бог знает что... Вот «Жакелина» потеряла тенета; с «Королевы Вильгельмины» снесло шквалом все набортники. Ты всего этого не считаешь. небось: не ты за это платил. Три месяца тому назад на «Жаннету» наскочил пароход: экипаж-то живо перебрался со шхуны на пароход, не подумав ни о сетях, ни о боченках с рыбой, ни о шхуне; бросили ее на произвол судьбы. Никто не позаботился о моих интересах... Вот я заплатил вперед твоей матери, а брат твой скрылся...

Катерина (плача). Я не могу поверить этому, сударь, нет, я никогда этому не поверю...

Лебуа. Жиро только что мне сообщил это по телефону, иначе я не пришел бы сюда выслушивать оскорбления от твоего старшего сына, который распевает позорные песни, чтобы взбунтовать всю округу... Прощайте, иду на шхуну. (С силой.) А если ты не будешь там во-время, я применю параграф 10-й условия: двадцать рублей штрафу.

Герард. Валяйте, ведь мы такие богачи.

Лебуа (Катерине). Что касается тебя, то ты моей жене больше не нужна. Тут у вас шайка какая-то.

Катерина (в страшном горе). Господи... сударь, да разве я виновата...

Герард. Нечего сказать, благородно! Вымещать зло на старухе.

Лебуа. Всегда так бывает, когда дети запятнают родное гнездо. После этого плаванья ты поищешь себе другого судовладельца, более расположенного метать бисер перед свиньями (уходит).

Герард. Ладно, а теперь отчаливай поживее. (Захлопывает за ним резко дверь.)

Сцена шестая.

Катерина, Герард, Жанна.

Катерина. Вот так праздник... Радостный вышел день рождения...

Жанна. Ну, тетушка, не давай же так легко сбить себя с толку. Ведь Герард был прав.

Катерина. Прав! Эко счастье. (Идет к выходу.)

Герард. Уж не хочешь ли ты бежать за ним вдогонку?

Катерина. Да нет, надо поискать Бертрана... Боже мой, если он скрылся, его тоже посадят в тюрьму. Оба сына...

Герард. А ты бы, матушка, попрощалась со мной, да пожелала мне счастливого плавания! Это, может быть, будет не лишнее.

Катерина. У меня голова идет кругом... Я еще увижу тебя в порту, сейчас... (Герард и Жанна уходят.)

Сцена седьмая.

Катерина и Бертран.

Бертран (быстро входя через левую дверь). Тш...

Катерина. Сумасшедший!

Бертран (с злобной, мрачной решимостью). Тш... Молчи...

Катерина. Как, молчи? Напротив, я изо всей силы буду кричать, если ты сейчас же не догонишь Герарда и Жанну.

Бертран (с мучительным беспокойством). Если еще не поздно, то не давай Герарду уехать.

Катерина (с гневом). Ну, от страха ты с ума сошел, трус ты эдакий!

Бертран (тем же взволнованным и убедительным тоном). «Надежда» никуда не годится, совершенно никуда. Киль весь сгнивший, борты тоже... (С отчаянием.) Бей меня, если хочешь. О боже мой, не допусти, чтобы Герард поехал. Симон-плотник меня предупредил.

Катерина. Симон! Пьяница, у которого язык заплетается... Ты, жалкий человек... Подписать контракт, а потом бежать... Ну, пойдем...

Бертран (кричит). Я не поеду! Я не поеду! Ты не можешь понять, ты не видала... В последнее плавание в ней было на аршин воды.

Катерина. В последнее плавание... Да она четыре раза подряд ходила за селедками. И вдруг — сгнила, так вот сразу, теперь, когда она должна итти на ловлю красной рыбы. Теперь она сгнила, когда тебе надо ехать, трусу дрянному...

Бертран. Я был в нижнем трюме; бочки там плавают в воде... Там смерть...

Катерина. Боже мой, за что ты так наказал меня в детях?! Они доведут меня до того, что придется итти по миру. Я забрала твое жалование; послано за полицией. Господин Лебуа отказал мне в поденной работе... что еще... (Жестко.) Ну, хорошо, пусть придут и арестуют тебя, все же это лучше, чем быть беглым. Боже мой! Надо же, чтобы подобные вещи случались в моей семье!

Бертран (падает на стул и рыдает, закрыв лицо руками). О, если меня уведут, ты больше не увидишь меня никогда, ты никогда не увидишь Герарда.

Катерина. Каждое судно в божьей воле, ты искушаешь господа своим малодушием. (Смягчаясь.) Ну, подумай, на что это похоже, чтоб мужчина твоих лет плакал, как ребенок? Полно... А я-то все думала, как бы сделать тебе удовольствие, и решила подарить тебе отцовские серьги. Вот.

Бертран. Мама, я боюсь... я не могу... я не вернусь... Помилуй меня, умоляю тебя!..

Катерина. Ну, мой мальчик, напрасно ты меня расстраиваешь. Дорогое мое дитя, я люблю тебя и Герарда, — вы ведь единственное, что у меня в мире осталось. Ну, послушай же, все ночи я буду молить милосердного бога, чтоб он возвратил тебя здоровым и невредимым, но надо же тебе привыкать, надо стать хорошим моряком... а то... (Она плачет.) Посмотри, Бертран (она подает ему зеркало). Посмотри-ка на свои серьги! А?

Сцена восьмая.

Катерина, Бертран и двое жандармов.

1-й жандарм (у порога левой двери говорит добродушно). Капитан Жиро просил начальника порта посодействовать... Поторопимся, друг мой, уж поздно, времени терять нельзя...

Бертран (кричит). Я не поеду и не хочу ехать! Судно гнилое насквозь.

2-й жандарм (ласковым голосом). Не надо было тогда подписывать контракта, голубчик Бертран. Не заставляй нас прибегнуть к силе, иди скорей, мой друг! (Он дружески ударяет Бертрана по плечу.)

Бертран. Не трогайте меня, не трогайте! (Он в отчаянии хватается за кровать, за дверь.)

2-й жандарм. Доведешь до того, что на тебя придется надеть кандалы.

Бертран (испускает не то стоны, не то рычания). Помоги, мать. Ты меня ведь никогда не увидишь: я умру в море.

1-й жандарм. Ну, пусти. (Он ему разжимает руки.)

Бертран (хватаясь еще сильнее). Нет (рычит). Отсеките мне руки! Боже мой! Боже мой! (В отчаянии он пробует взлезть на стену.)

Катерина (почти плача). Ну, если уж он так боится...

1-й жандарм. Скажи ему, чтобы отпустил руки.

Катерина (плача, берет его за руки). Ну, дитя мое, бог не покинет тебя.

Бертран (выпускает дверь и отчаянно рыдает). Ты больше меня не увидишь никогда, никогда...

ИЗ ПРОШЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ.

(Г. Плеханов. «РУССКИЙ РАБОЧИЙ В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ».)

Первая стачка на Новой Бумагопрядильне вызвана была, в марте 1878 г., значительным понижением заработной поштучной платы и длинным рядом «новых правил», целью которых являлось все то же, любезное предпринимательскому сердцу, удешевление рабочей силы...

Стачка была подавлена не экономической силой капитала, а простым полицейским насилием...

Тот же 1878 г. ознаменовался некоторыми, правда незначительными, победами петербургских рабочих...

24-го сентября в мастерских табачной фабрики Мичри появилось объявление, гласившее, что папиросницы, получавшие 65 коп. за 1.000 штук папирос первого сорта, впредь будут получать 55 к., а за 1.000 штук папирос второго сорта, вместо прежних 55 к., будет платиться 45 к. Это понижение платы мотивировалось плохим сбытом товара. Мастерицы, как называют себя работницы, сорвали это объявление и пошли в контору для объяснения. Там они сказали приказчику, что не согласны работать за уменьшенную плату, и просили принять от них палочки и машинки для делания папирос. Тот обругал их непечатной бранью. Его грубость окончательно взорвала «мастериц»: палочки, машинки и даже скамейки полетели в окна, приказчик струсил и послал за хозяином. Г. Мичри не заставил долго себя ждать. Он немедленно явился на фабрику, и ласковая речь его, а больше всего обещание уступки успокоили толпу, состоявшую приблизительно из сотни женщин. Попытка понизить и без того невысокую плату окончилась полной неудачей.

Через два дня такая же история повторилась на фабрике бр. Шапшал на Песках. Там приказчик вывесил следующее объявление:

«Мастерицам табачной фабрики Шапшал.

Сим объявляю, что, по случаю остановки сбыта товара, я сбавляю с каждой 1.000 папирос по 10 коп.

Шапшал».

Мастерицы, здесь уже в числе 200, немедленно сорвали это объявление и на его месте вывесили новое:

«Хозяину табачной фабрики Шапшал.

Мы, мастерицы вашей фабрики, объявляем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться.

Мастерицы вашей фабрики».

Приказчик собрал мастериц и потребовал, чтобы они указали писавшую объявление. Они ответили, что это излишне, так как объявление писано от имени их всех, и стали уходить. Приказчик поспешил послать за хозяином. После напрасных попыток убедить мастериц работать за пониженную плату г. Шапшал вынужден был уступить подобно г. Мичри.

В следующем 1879 году стачечная зараза охватила несколько фабрик одновременно. Обнаружилась она прежде всего на знакомой уже читателям Новой Бумагопрядильне...

Слухи о стачке на Новой Бумагопрядильне быстро распространились между фабричными, и на следующий день на Обводный канал явилось 40 выборных от ткачей фабрики Шау (Шавы, как произносили рабочие) за Нарвской заставой. «Шавинские» также решились бастовать и предлагали «новоканавцам» [1]) выработать общие требования. Правда, полного тожества в требованиях стачечников этих двух фабрик быть не могло, так как порядки, практиковавшиеся г. Шау, отличались от порядков, существовавших на Бумагопрядильне. У «Шавы» работа шла безостано-

[1]) Рабочие называли Обводный канал Новой Канавой.

вочно день и ночь, при чем рабочие разделялись на две смены: одни сутки одна смена работала 16 часов, а другая 8, следующая — наоборот. Трудолюбивый фабрикант не прекращал работы даже вечером накануне праздников: она приостанавливалась только в 6 часов праздничного утра. Г. Шау заботился также и о продовольствии рабочих: у него была мелочная лавка, в которой они обязаны были покупать продукты. Читатель легко может представить себе, как выгодно это было для заботливого хозяина. Иногда, придя за получкой в контору, рабочий узнавал, что весь его заработок ушел на уплату по его забору в хозяйской лавке.

С одобрения «новоканавцев» «шавинские» рабочие представили своему хозяину следующее требование:

«1) Чтобы на каждый вытканный кусок прибавили платы по 5 к.

2) Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват в прогуле.

3) Чтобы основы выдавали хорошие и чтобы материал выдавался при наших выборных.

4) Чтобы товар не браковали зря, чтобы за этим тоже следили наши выборные.

5) Чтобы не штрафовали за полом инструмента, за отсутствие из фабрики по болезни и надобности.

6) Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке по получке денег на руки.

7) Чтобы на больницу платилось не по $1^1/_4$ коп. с рубля, а по 10 коп. в месяц.

8) Чтобы за кипяток на фабрике рабочие не платили.

9) Чтобы утром давалось время с 8 $^1/_2$ до 9 ч. на завтрак.

10) Чтобы накануне праздников работа кончалась в 8 часов вечера.

11) Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы; мы сами укажем место для них, а то теперь в иных местах вовсе свету нет.

12) Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсеньева и Нефеда Ефимова, Николая Волкова и шпульника Кирилла Симонова. Нам от них нет житья, и мы с ними не хотим работать.

13) За время стачки денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.

14) Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не работаем, а тех, что теперь забрали, пусть выпустят»...

Предъявленное фабриканту последнее (14-е) требование с формальной точки зрения могло бы показаться бессмыслицей. Но в действительности оно имело большой практический смысл, так как аресты рабочих происходили по настоянию и нередко по личному указанию фабрикантов. Стачечники нашли полезным предупредить г. Шау, что даже в случае исполнения всех остальных требований они не станут работать, пока не прекратятся аресты и не будут освобождены арестованные...

На фабрику Шау в качестве миротворца явился некий «полковник». Рабочие подали ему письменное изложение своих требований и категорически заявили, что на меньшем не помирятся.

— Согласны вы на эти требования? — спросил полковник хозяина.

Тот, разумеется, ответил отрицательно.

— Ну, так чего же вы, такие-сякие, хотите? — заревел миротворец, — да я вас!.. и т. д., и т. д., полились обычные в таких случаях словеса «кротости и увещания», т.-е. брань, украшенная непечатными словами... У меня, заключил храбрый воин, сейчас 25.000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать.

— Больно уж много ты, ваше благородие, войска-то для нас наготовил-то, — насмешливо заметили рабочие, — нас всего-то здесь 300 человек и с бабами, и с ребятишками, а мужиков-то не будет больше сотни.

Полковник понял, что зарапортовался, и прикусил язык, приказав, для поддержания своего авторитета, схватить одного из остряков, но толпа окружила эту жертву полковничьего смущения и отстояла ее от полицейских покушений. Так и уехал ни с чем чиновный миротворец...

ПО ТАРИФУ.

(Леруа Скотт. «СЕКРЕТАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА»).

Том убедился, что дальнейшие поиски места десятника являются напрасной потерей времени. Ему оставалось выбирать между безработицей и работой в качестве рядового рабочего. Последнее не улыбалось ему, ибо было в его глазах профессиональным унижением. Но ему не хотелось также тратить свои сбережения, если этого можно было избежать, и поэтому он решил работать простым рабочим. Накануне он слышал о трех постройках, только что начатых. Подрядчиков, сооружавших две из них, он видел утром, и после встречи с Фоли он направился к третьему. Подрядчик этот был мелкий предприниматель, толстый человек с маленькими острыми глазами.

— Да, люди мне нужны, — ответил он на вопрос Тома. — Сколько вы требуете?

— Три семьдесят пять; по тарифу.

Подрядчик покачал головой.

— Слишком много. Я могу платить лишь три доллара.

— Но ведь вы подписали соглашение платить согласно тарифу! — вскричал Том.

— О, мало ли что подписываешь...

Том готов был уйти, когда любопытство заставило его преодолеть свое возмущение. В глазах члена профессионального союза работать за плату ниже тарифа — преступление против союза. И для предпринимателя платить ниже тарифа — преступление против предпринимательской организации. Том решил вывести подрядчика на чистую воду.

— Ладно, положим, я согласен работать за три доллара, — как же мы сделаем, чтобы об этом не узнали? — спросил он.

Маленькие глазки хитро засверкали.

— Я заключаю со своими рабочими следующее соглашение: в субботу вы получаете в конверте полную сумму, по тарифу. Всякий, кто посмотрит, как вы вскрываете конверт, может убедиться, что вы получаете договоренную плату. А затем вы возвращаете мне четыре доллара пятьдесят. Это за авансы, будто бы полученные вами в течение недели. Понимаете?

— Понимаю! — сказал Том. — Но я не из тех, что работают за три доллара!

— Подождите! — закричал подрядчик вдогонку Тому. Его проницательность сразу подсказала ему, что он сделал ошибку, что этот человек, если его отпустить так, может причинить неприятности. — Я подшутил над вами... Разумеется, я дам вам установленную плату.

Том понимал, что подрядчик лжет, но у него не было бесспорных доказательств, что он надувает и союз и своих собратьев-предпринимателей. И потому, нуждаясь в заработке, он взял предложенную работу...

ЗА РАБОЧИЙ СОЮЗ.

(Э. Синклер — «КОРОЛЬ УГОЛЬ».)

Наконец, тайна роковой шахты обнаружилась [1]). Неустанно работала лебедка, тяжело нагруженные бадьи одна за другой поднимались вверх, выбрасывая груды мертвых и живых тел. Мертвых и живых можно было распознать только после того, как их в течение некоторого времени накачивали кислородом. Хол стоял под проливным дождем и наблюдал за толпой; никогда еще в жизни не видел он таких потрясающих, душу раздирающих сцен. Это гробовое молчание, наступавшее, когда появлялся кто-нибудь с новыми известиями. Этот внезапный, отчаянный крик женщины, надежда которой вмиг была убита навеки. Этот ропот и стон сострадания, пробегавшие в толпе, вперемежку с радостными возгласами, при каком-нибудь счастливом сообщении. Все это волновало душу толпы, подобно буре, волнующей колос на ниве...

Прошла еще одна ночь, прошел еще один день. Извлекли последние трупы и отправили их в Педро, где должно было состояться массовое погребение жертв — характерное явление в жизни рудников...

Был час заката, на равнине в это время солнце опускалось за горизонт. Верхушки гор окрасились в пурпур. Осенний воздух дышал резкой свежестью. По темным улицам двигались какие-то фигуры. Слышались крики. Пробежала толпа людей. Хол догнал ее и спросил:

— Что-нибудь опять случилось?

Сотня голосов смешалась в общем гуле, подобно рокоту волн. В общем хаосе звуков он разобрал:

— Вперед! вперед! Довольно с нас! Ура...

На ступеньки соседнего дома взобрался какой-то человек. К своему величайшему удивлению, Хол узнал в нем Тима Рафферти. Тим, самый жизнерадостный человек в мире, Тим, с вечной улыбкой на лице, с веселыми голубыми ирландскими глазами. Его рыжеватые волосы были всклокочены, лицо исказилось от бешенства.

— Он почти что мертв! — ревел он. — Он потерял голос, у него отнялись руки! Одиннадцать лет он работал на них, теперь его постигло несчастье, в котором повинны они, едва было совсем не погиб. Каждый из вас знает, клянусь богом, что вся вина в этом деле лежит на них!

— Верно! Он прав! — раздавались голоса. — Рассказывай все!

— Они предлагают ему двадцать пять долларов и берут на себя расходы по лечению. А что это для них составляет? Они выбросят его на улицу раньше, чем он будет в состоянии стать на ноги. Вы помните, они точно так же поступили и с Питером Кэлленом!

— Верно! Правильно!

— А эти проклятые адвокаты, которые подсовывают им бумагу для подписи, когда в полубессознательном состоянии они не могут толком разобраться, в чем дело! А я, я мог бы ему помочь, но меня туда не пускают! Клянусь богом, это уж слишком! Что мы, рабы, что мы, собаки, что ли, чтобы позволять так обращаться с нами?..

— Они всегда так делают, — крикнул Уочоп, английский шахтер.— Поэтому они нас и не впускают туда.

---

[1]) О несчастии в шахте см. отрывок «Дороже жизней», на стр. 77.

— То же было и с моим отцом!

Хол узнал голос молодого грека, Анди.

— А завтра с утра они собираются начать работы в шахте № 21,— ревел Тим. — Кто из вас пойдет туда, под предводительством Алека Стона, который посылает к чорту людей и спасает мулов?

— Мы не спустимся в шахты, пока не будут приняты меры безопасности!—кричал Уочоп.—Пусть посыплют кирпичом, иначе к чорту работу!

— Пускай дают правильный вес! — кричал другой голос. — Мы требуем весового контролера, хотим получать то, что заработали...

Толпа с пением и проклятьями двинулась дальше по улице. Кто-то затянул марсельезу, и безумным пламенем вспыхнули слова этой песни:

К оружию! К оружию, храбрецы!
Вперед, вперед, с решимостью в сердце
Победить или умереть!

Среди толпы были угнетенные люди всевозможных национальностей, они пели на разных языках, но смысл песни от этого не менялся. Они пропели несколько тактов, потом отдельные звуки потонули в общем реве: «Вперед! вперед! С решимостью в сердце»... Некоторые пустились бежать по разным направлениям, чтобы оповестить повсюду о происходящем. Скоро сбежалась вся деревня. Мужчины махали шапками, женщины кричали, подняв руки, или же стояли безмолвно, оцепенев от ужаса: революционными гимнами детей не прокормишь...

Кто-то крикнул, что нужно ворваться в лазарет и спасти раненых от «проклятых адвокатов». Тут была по крайней мере определенная цель, и толпа ринулась в указанном направлении...

Хол вместе с Джерри присоединился к толпе, стоявшей перед одним из бараков и слушавшей чью-то речь. Говорил женский голос; ясно, повелительно звучал он среди вечерней тишины. Они не могли видеть ораторшу, но Хол тотчас же узнал ее по голосу; он схватил своего спутника за руку:

— Это — Мэри Барк!

Да, это была действительно Мэри Барк. Казалось, она привела толпу в какое-то исступление. Она произносила какую-нибудь фразу, толпа отвечала диким ревом, опять фраза, снова дикий рев окружающих. Хол и Джерри протиснулись вперед, чтобы разобрать слова этой безумной литии [1]).

— Вы думаете, сами они полезут в шахту?

— Нет, не полезут!

— Могли бы они иначе ходить разодетые в шелк и кружева?

— Нет, не могли бы!

— Имели бы они такие чистые, нежные ручки?

— Нет, не имели бы!

— Если бы вы только держались стойко и действовали сплоченно, они валялись бы перед вами на коленях и умоляли бы вас примириться, молили бы о соглашении. Но вы трусы, и они пользуются вашим страхом! Вы предатели, и они покупают вас! Они кромсают вас на куски, делают с вами, что хотят — и потом уезжают себе спокойно в экстренных поездах, оставляя вас на произвол своих вооруженных приспешников, которые вас избивают и топчут своими сапогами: сколько времени вы будете еще терпеть это? сколько?

Рев толпы прокатился по улице и пронесся обратно.

---

[1]) Литня — одно из богослужений.

— Мы не потерпим этого! Не потерпим!

Мужчины потрясали кулаками, женщины кричали, даже дети выкрикивали ругательства и проклятья.

— Мы будем бороться с ними! Мы не станем больше работать на них, как рабы!

Тогда Мэри произнесла, наконец, магическое слово:

— У нас будет рабочий союз! — крикнула она. — Будем держаться крепко, стойко, все вместе! Если же они откажутся признать наши права, нашим ответом будет — забастовка!

Толпа загудела, зашумела, подобно раскатам грома в горах прокатился мощный гул толпы. Да, Мэри нашла подходящее слово. В течение многих лет никто не осмеливался произнести этого слова в Норт-Тале, теперь же оно, как молния, пронизало толпу.

«Забастовка! забастовка! забастовка! забастовка!» Они точно не могли вдоволь насытить свой слух этим словом. Некоторые плохо поняли речь Мэри, но это слово знали все: забастовка! Они стали переводить его на все языки, выкрикивали его по-польски, по-чешски, по-итальянски, по-гречески. Мужчины махали шапками, женщины фартуками, в полумраке все было похоже, как будто буря пронеслась по верхушке какого-то странного растения и теребит во все стороны его листву. Мужчины пожимали друг другу руки, чужестранцы бросались на шею друг другу. «Забастовка! забастовка!»

Хол с изумлением смотрел на ораторшу, ее речь поразила его. Пред глазами его совершилось чудо возрождения человеческой души, из отчаяния выросла надежда. Возрождение сообщилось и всей столпившейся тут массе: волнующиеся фигуры с поднятыми вверх руками следили за словами Мэри, как за палочкой дирижера...

С тех пор, как Хол впервые появился в угольном бассейне, он понял, что истинную трагедию в жизни этих людей составляют не телесные страдания, но духовная подавленность, тупое, беспросветное состояние их души. Эта мысль внедрялась в его сознание с каждым днем, он убеждался в этом из слов своих товарищей, из всего того, чему он сам был свидетелем. Том Ольсон по этому поводу сказал так: «Худшее зло — в головах тех, кому мы хотим помочь». Каким образом можно было пробудить надежду в этом царстве ужаса?..

Однако, чудо возрождения человеческой души все-таки совершилось. И в Норт-Тале расцвела надежда. Люди подняли восстание, и во главе их Мэри Барк...

Хол решил первоначально держаться в стороне и не вмешиваться в это дело, но теперь он понял, что бездействовать в такой критический момент было бы с его стороны трусостью, преступлением. Он выскочил вперед, стараясь перекричать шум:

— Стойте, ребята! Остановитесь!

Вероятно, никого во всем Норт-Тале не стали бы слушать в такой момент; но Хол пользовался доверием рабочих, он честно заслужил право на то, чтобы его слушали. Разве не сидел он ради них под арестом? Ведь они видели его за решеткой...

— Исполните ли вы то, что я вам скажу?—спросил Хол, и, когда все хором ответили утвердительно, он обратился к ним с предупреждением:

— Смотрите же: не драться! Не пьянствовать! Если вы сегодня вечером встретите пьяного, то без стеснения задержите его, садитесь на него верхом, держите крепко!

Послышался смех, крики «ура!» О, да, они будут вести себя храбро, эта задача требует трезвых голов...

Хол повернулся к толпе и поднял руку, чтобы водворить тишину.

— Рабочие, нам предстоит большая задача: организовать союз. Здесь, перед лазаретом, не место для этого, мы и без того тут достаточно нашумели. Давайте тихо разойдемся и назначим сборный пункт у электрической станции...

Они дошли к назначенному месту без всяких препятствий. Тем временем Хол выработал план, каким образом повести разговор с этой многоязычной толпой. Он знал, что половина из них кое-как понимает по-английски, а половина совсем ничего не понимает. Чтобы все могли понять его слова, нужно было разделить рабочих группами по национальностям и к каждой группе приставить по переводчику.

Это заняло много времени. Вызвало много шума, криков и добродушной толкотни, — сюда поляки — сюда чехи — сюда итальянцы — сюда греки. Когда, наконец, распределение по группам закончилось и переводчики стали по своим местам, Хол начал свою речь...

В свое время Том Ольсон указал Холу несколько технических приемов, необходимых для того, чтобы вдолбить невежественной массе то, что нужно. Нужно было несколько раз повторять одну и ту же мысль, повторять до тех пор, пока даже самый тупой слушатель не усвоит себе смысл слов, пока в его мозгах прочно не утвердится мысль о том, что единственное спасение рабочих заключается в солидарности. Когда переводчики закончили свое дело, тогда Хол повторил свою речь еще раз сначала, стараясь выражаться простыми односложными словами и прибегая к распространенному на рудниках ломаному английскому языку. Чтобы усилить впечатление, он уснащал свою речь греческими, итальянскими и славянскими словами, которые он успел заучить за время своего пребывания в Норт-Тале.

При этом случалось, что воодушевленные его словами переводчики тут же немедленно передавали их своим землякам, и тогда Холу приходилось выжидать, пока снова не водворялась тишина. Нечего было опасаться того, что рабочим может все это наскучить: все это были люди терпеливые, привыкшие переносить многое, да к тому же они относились к делу чрезвычайно серьезно.

Постепенно, не спеша, Хол объяснил им всю суть: они образуют рабочий союз, настоящий союз, с членскими книжками и выборным правлением. Однако, только в том случае есть смысл приняться за такую организацию, если они намерены и впредь остаться организованными. Представители от каждой национальной группы соберутся вместе и выработают ряд резолюций, которые потом будут представлены всем остальным на утверждение. Затем о принятых резолюциях доведут до сведения надзирателей и при этом надзирателям будет сообщено, что ни один углекоп в Норт-Тале не спустится в шахту, пока все требования рабочих не будут удовлетворены.

Джерри Минетти, хорошо знакомый с делом организации союзов, советовал Холу немедленно произвести запись членов; он рассчитывал на психологический эффект, который получится, когда каждого поодиночке будут вызывать и вписывать его фамилию...

Решено было, что каждый записавшийся в члены при вступлении в союз будет вносить 10 центов, потребуются расходы на телефон, телеграф, в случае если явится необходимость прибегнуть к помощи извне.

Избран был временный комитет, в составе Тима Рафферти, Уочопа и Хола, которому было поручено составить списки, вести счет денежным поступлениям и подготовить все к завтрашнему общему собранию. Кроме

того, назначили 12 человек наиболее сильных и надежных рабочих для охраны комитета.

Тем временем вернулся посланный за карандашами и блокнотами.

Переводчики уселись на землю и принялись при свете рудничных ламп вносить в список всех желавших записаться в союз, при чем каждый вступавший давал обещание соблюдать дисциплину и солидарность. Наконец, после того как на утро назначено было общее собрание, рабочие разошлись по домам. Каждый уносил в сердце своем совершенно неведомое ему до сего дня чувство радости и сознание своей силы...

V

НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА.

ПРОЦЕСС ВОСПРОИЗВОДСТВА.

(Роза Люксембург — «НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА».)

С первого взгляда может быть неясно, чем, собственно, понятие «воспроизводство» отличается от ясного для всех понятия «производство» и для чего здесь нужно новое непривычное выражение. Но как раз в повторении, в постоянном возобновлении процесса производства, кроется момент, имеющий сам по себе существенное значение. Регулярное повторение процесса производства является прежде всего общей предпосылкой и основой регулярного потребления, а потому и предварительным условием культурного существования человеческого общества на всем пути его исторического развития... Производство не может быть возобновляемо, и воспроизводство не может иметь места, если нет налицо определенных предварительных условий: орудий, сырых материалов и рабочих сил, являющихся результатом предшествующего периода производства. Но на самых первоначальных ступенях культурного развития, в начале завоевания внешней природы, возможность возобновления производства всякий раз в большей или меньшей мере зависит еще от случая. Пока основой существования общества являются по преимуществу охота и рыбная ловля, регулярное повторение процесса производства прерывается периодами общей голодовки... Лишь переход к мотыжному земледелию, приручение домашних животных и разведение в целях питания скота делает возможным регулярный кругооборот потребления и производства, который является признаком воспроизводства. В этом смысле само понятие воспроизводства заключает в себе нечто большее, чем простое повторение: оно уже предполагает определенную ступень завоевания обществом внешней природы, или, выражаясь экономически,—определенную высоту производительности труда.

С другой стороны, самый процесс производства на всех ступенях общественного развития представляет собой единство двух различных, хотя и тесно связанных между собой моментов: он является единством технических условий, т.-е. определенных отношений людей к природе, и общественных условий, т.-е. отношений людей между собой. Воспроизводство в равной мере зависит от обоих моментов. В первобытной коммунистической земельной общине воспроизводство, как и весь план хозяйственной жизни, определяется всеми работающими и их демократическими органами; решение о возобновлении работы и ее организации, забота о необходимых предварительных условиях — о сырых материалах, об орудиях, о рабочих силах и, наконец, определение размеров и распределения воспроизводства, все это — результат планомерной совместной работы всех трудящихся в пределах общины. В рабовладельческом или в крепостни-

ческом хозяйстве воспроизводство совершается и во всех деталях регулируется на основе принуждения, покоящегося на отношении личного господства. Пределы для размеров воспроизводства определяются при этом правом распоряжения господствующего центра над большим или меньшим кругом чужой рабочей силы...

Простое воспроизводство, т.-е. постоянное повторение процесса производства в прежнем масштабе, возможно, и мы можем его наблюдать на протяжении огромных периодов общественного развития. Таковы, например, первобытные коммунистические деревенские общины... Но во всех подобных случаях простое воспроизводство является основой и верным признаком всеобщего хозяйственного и культурного застоя. Все значительные успехи производства и памятники культуры, каковы огромные водные сооружения Востока, египетские пирамиды, большие римские дороги, греческие искусства и науки, развитие ремесла и городов средневековья, были бы невозможны без расширенного воспроизводства, ибо только постепенное расширение производства сверх непосредственных нужд и постоянный рост населения и его потребностей образуют в одно и то же время хозяйственную основу и социальное побуждение к значительным культурным успехам.

Обмен, а вместе с ним возникновение классового общества и его историческое развитие вплоть до капиталистической формы хозяйства также были бы немыслимы без расширенного воспроизводства. Но в капиталистическом обществе к расширенному воспроизводству прибавляются некоторые новые характерные черты.

В аграрно-коммунистической деревенской общине Индии, или в римской вилле (усадьбе) с рабским трудом, или в феодально-крепостной общине средневековья — понятие и цель расширенного воспроизводства относятся только к количеству продуктов, к массе произведенных предметов потребления. Потребление, как цель, господствует над размером и характером, как процесса труда, в частности, так и воспроизводства вообще. Иное мы видим при капиталистическом способе производства...

Все капиталистическое производство осуществляется огромным и постоянно колеблющимся числом частных производителей, которые производят независимо друг от друга, без всякого общественного контроля, кроме наблюдения за колебанием цен, и без всякой общественной связи, кроме товарного обмена... При капиталистическом способе производства для отдельного частного производителя,—а их только мы имеем здесь в виду,— потребности общества не являются мотивом к производству... Прибавочная стоимость является конечной целью и движущим мотивом капиталистического производителя. Но пока прибавочная стоимость заключена в форме товара, она не может быть потреблена капиталистом. Только когда вся масса товаров отчуждена по своей стоимости за деньги, цель производства достигнута... Это превращение капитала необходимо, однако, не только для производства и присвоения прибавочной стоимости: целью и движущим мотивом капиталистического производства является не просто прибавочная стоимость в любом количестве и однократное присвоение ее, а прибавочная стоимость неограниченная, ее непрерывное нарастание, все увеличивающиеся количества ее. Но это может быть достигнуто опять-таки при помощи того же самого волшебного средства,—при помощи капиталистического производства, т.-е. путем присвоения неоплаченного наемного труда...

Теперь мы пришли ко второму важному обстоятельству. Определение размера воспроизводства в условиях частного хозяйства покоится на соизволении и благоусмотрении отдельного капиталиста. Но его

движущим мотивом является присвоение прибавочной стоимости, и при том присвоение, возможно более быстро прогрессирующее. Ускорение в присвоении прибавочной стоимости возможно, однако, только благодаря расширению капиталистического производства, создающего прибавочную стоимость. Крупное предприятие при производстве прибавочной стоимости имеет во всех отношениях преимущества по сравнению с мелкими предприятиями...

При господстве конкуренции самым важным оружием отдельного капиталиста в борьбе за место на рынке сбыта является дешевизна товаров. Но все методы, обещающие устойчивое понижение издержек производства товаров, т.-е. достигающие повышения прибавочной стоимости сверх обычной нормы не путем уменьшения заработной платы и удлинения рабочего дня, что, кстати сказать, наталкивается на разного рода затруднения, сводятся к расширению производства. Идет ли речь об экономии на постройки и орудия производства, о применении наиболее продуктивных средств производства, о прогрессирующей замене ручного труда машинами или же о быстром использовании благоприятной рыночной конъюнктуры для приобретения дешевого сырья, во всех этих случаях крупное производство имеет преимущества над мелким и средним производством.

Эти преимущества возрастают в весьма значительных размерах вместе с расширением предприятия. Поэтому всякое расширение одной части капиталистических предприятий в силу самой конкуренции навязывается другим, как условие их существования. Так создается непрерывная тенденция к расширению воспроизводства, которая распространяется механически - непрерывно, волнообразно по всей поверхности частного производства.

Для отдельного капиталиста расширение воспроизводства проявляется в том, что он прибавляет часть присвоенной прибавочной стоимости к капиталу — в том, что он накопляет. Накопление, т.-е. превращение прибавочной стоимости в действующий капитал, представляет собой капиталистическое выражение расширенного воспроизводства...

ВОСПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ.

(Э. Золя — «ТРУД».)

Дедушке Люно было пятьдесят лет, он тридцать лет проработал в Пучине при отливке. Это был маленький толстый человек, так что, повидимому, вместо того, чтоб от действия огня высохнуть, он, наоборот, распух. Может быть, причиной его ревматизма была вода, которою он всегда обливался, когда жарился над плавильной печью. У него рано заболели ноги, и теперь он ходил с большим трудом. Так как он не имел, как новые рабочие, права на жалкую пенсию в триста франков, ему пришлось бы, как разбитой кляче, умереть на мостовой, если б дочь, по совету мужа, не приняла его к себе; впрочем, за это она осыпала его всевозможными упреками и подвергала всяким лишениям.

— Да, — заговорил он. — Я знал Кюриньонов... Господин Жером, при котором я восемнадцати лет поступил на завод, когда ему было сорок пять лет, жив еще и до сих пор. Но раньше господина Жерома был господин Блэз, который основал Пучину, поселившись здесь и имея всего две наковальни, лет восемьдесят тому назад. Этого я не знал, но мой

отец, Жан Рагю, и мой дед, Пьер Рагю, знавали его... Кюриньоны нажили большое состояние, а вот я, Жак Рагю, без ног и без гроша в кармане. Сын мой, Огюст Рагю, будет не богаче меня, не говоря уже о моей дочери и ее детях, которым придется всегда голодать, как это вот уж сто лет приходится всем Рагю.

Он говорил без злобы, с покорным видом разбитой клячи...

— Что делать, сударь, такова судьба нас, бедняков. Всегда будут хозяева и будут рабочие. Мой дед и отец были такими же, как я, и сын будет таким же. К чему возмущаться? Каждый вынимает свой жребий при своем рождении. Но все-таки позволительно желать иметь на что купить вдоволь табаку на старости лет.

— Табаку!—воскликнула его дочь Кудлатка.—Неужели ты думаешь, что я буду тратиться на твой табак теперь, когда нам придется умирать с голоду?!

Она выдавала ему табак по порциям, и это приводило в отчаяние старого Люно, который напрасно старался закурить свою трубку, в которой оставалась одна зола. Инженер Люк глядел на него с возрастающей жалостью. Наемный труд оставлял от человека лишь жалкий осколок. Жизнь пятидесятилетнего рабочего была окончена, силы его были съедены ужасной, машинальной, вечно одной и той же работой, она довела его до совершенно бессмысленного, животного, парализованного состояния. В этом несчастном существе оставалось лишь фаталистическое признание своего рабства...

ОТДЕЛЬНАЯ РАСА.

(Эптон Синклер — «КОРОЛЬ УГОЛЬ».)

Хол стал понимать, почему Норд-Таль считается местом ужасов. Многое, многое могли бы поведать старые шахты, если бы умели говорить...

Тут существовала совершенно обособленная раса подземных гномов, которых компания в своих своекорыстных целях втиснула сюда и крепко держала скованными. Снаружи, по залитому солнцем каньону катились вдаль длинные ряды вагонов, нагруженные углем, углем, который дойдет до края света, в места и страны, о которых углекопы никогда и не слыхали; уголь будет двигать колеса индустрии, продуктов которой углекопы никогда не увидят; уголь будет ткать роскошный шелк для знатных дам, будет шлифовать дивные драгоценности и украшения; будет двигать целые вереницы вагонов с мягкой обивкой через пустыни и горы, будет тащить пароходы, похожие на дворцы, из края зимних бурь к сверкающим тропическим морям. А разодетые в шелк, украшенные драгоценностями знатные дамы будут есть, спать, покоиться на мягких подушках — и так же мало будут знать о жалких созданиях мрака, как эти последние о них...

Наблюдая толпы спешащих на работу людей, Хол вспомнил, что согласно государственной статистике, на каждую тысячу рабочих приходится девять обреченных на неминуемую смерть и около тридцати на тысячу превращаются в калек. И они знали это, знали гораздо лучше, чем все статистики страны; и все-таки шли на работы. Эта мысль поражала Хола до такой степени, что он не мог от нее отвязаться. Что это была за могущественная сила, которая гнала людей на работы?..

Мало-по-малу Хол научился узнавать людей, он уже не смотрел на них, как на массу, достойную либо презрения, либо сострадания, но как на ряд личностей, из которых у каждой был свой характер, свои жизненные задачи и вопросы, совсем так, как у людей, живущих в солнечном мире...

Был, например, «Анди», молодой грек. Его звали, собственно, Андрокуло, но кто же на руднике мог выговорить такое имя? Хол в первый раз обратил на него внимание в заводской лавке; ему бросились в глаза красивые черты лица и страдальческое выражение в его больших глазах. Они разговорились. Когда Анди узнал, что Хол не всю свою жизнь провел в шахтах, а видывал многое иное на свете, то было прямо трогательно слышать, с каким волнением в голосе он говорил. Он всей душой стремился к жизни с ее радостями и злоключениями, а между тем, он обречен был судьбой 10 часов в сутки просиживать у угольного пласта, в ушах громыхание угля, в носу угольная пыль — и выковыривать пальцами из угля куски шифера. Он был одним из многочисленных «угольных мальчишек».

— Почему же вы не уйдете отсюда? — спросил Хол.

— Господи! Как же я могу уйти? У меня мать и две сестры.

— А ваш отец?

Тут Хол узнал, что его отец был одним из тех погибших при катастрофе, которых пришлось по кускам извлекать из шахты. Теперь сын занял место отца и будет прикован к нему, пока не пробьет его час.

ЛОДЗИНСКИЕ МИЛЛИОНЫ.

(В. Реймонт — «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ».)

Сорок лет тому назад,—Шая великолепно помнил это,—у Бухгольца уже начинали заводиться миллионы, а он только приказчиком жалкой лавочки Старого Города начинал свою карьеру. Работа его состояла в том, чтобы зазывать покупателей, относить пачки в дом, а иногда и подметать лавку и тротуар возле нее.

Месяцами он простоял на тротуаре в мороз, дождь, пекло, получая пинки от прохожих, стоял, изголодавшийся, оборванный, с голосом охрипшим от зазывания: рубль в месяц платил он тогда за койку в какой-то ужасной берлоге.

Затем он вдруг исчез куда-то, а когда через несколько лет снова появился, никто не узнал его.

Вернулся он с небольшими деньжонками и за свой страх и риск стал вести дело.

Ироническая улыбка заиграла на лице Шаи, когда он вспомнил ту жалкую тележку, на которой разъезжал с товаром по деревням...

Ужасно как он бедствовал тогда: имея всего пятьдесят рублей оборотного капитала, сюда входила телега и кляченка, ему надо было кормить себя, жену, детей и лошадь.

Затем первые ткацкие станки, сотни тысяч обманов, правда, мелких, на весе сырья, который он отпускал работавшим у себя на-дому, обмеривания, отказ в пище себе и семье, отказ во всем — раньше чем Шая решился взять в аренду небольшую заброшенную фабрику.

Шая первым завел штат продавцов по деревням и местечкам. Сам же он не спал, не ел, можно сказать даже не жил, а только работал, работал и копил.

Первым он стал отпускать в кредит. До него Бухгольц и все лодзинские немцы продавали, как встарь — только за наличный расчет.

Шая первым стал вырабатывать так называемую «дешевку» и уменьшил славу лодзинского производства, которая до сих пор имелась за ним.

Методы эксплоатации он ввел и довел их до совершенства.

После случившегося у него пожара он выстроил собственную фабрику, рассчитанную на тысячу рабочих, и стал крепко на ноги.

Тысячи,—десятками, сотнями,—миллионы целые вливались в его несгораемые шкапы—из поместий, из крестьянских хат, из протухших от непролазной грязи городишек, из столичных городов, степей, с далеких гор. Вливались все более разраставшимися потоками, и Шая крепнул и становился сильнее.

Другие терпели убытки, умирали, не платили из-за несчастий и всеобщих кризисов, а Шая стоял непоколебимо. Старые здания горели у него, а на место них появлялись новые, большие, с удвоенной силой сосавшие миллионы из земли, материала, людей, соперников.

ЖРЕЦ НАКОПЛЕНИЯ [1]).

(Э. Золя — «ДЕНЬГИ».)

Гундерман занимал огромный отель, как раз достаточный для его бесчисленной семьи... Менее чем в столетие чудовищное состояние в миллиард создалось и выросло в этой семье вследствие бережливости и счастливого стечения обстоятельств. Тут было как бы предопределение, в связи с живым пониманием дел, неутомимым трудом, благоразумием, непреодолимым и вечно направленным к одной цели упорством. Теперь реки золота со всего света стекались в это море миллионов и терялись в нем, общественные богатства пропадали в пропасти частного все возраставшего состояния; и Гундерман был истинным владыкой, всемогущим повелителем Парижа и мира!..

Кабинет Гундермана была огромная комната, в которой он занимал только небольшой уголок у крайнего окна. Сидя за столом из черного дерева, он держался спиной к свету, так что лицо его оставалось в тени. Поднявшись в пять часов, он принимался за работу, когда Париж еще спал, и к девяти часам, когда толпа алчущих дефилировала пред ним, его рабочий день уже приходил к концу. Двое из его сыновей и один из зятьев помогали ему, изредка присаживаясь за двумя письменными столами, стоявшими посреди комнаты, но большею частью на ногах, среди целой толпы служащих. Но это была внутренняя домашняя служба. Толпа стремилась туда, в уголок, где сидел он, бесстрастный, холодный, принимая посетителей и отвечая на их запросы, часто только знаком, иногда словом, если желал выказать особенную любезность.

---

[1]) «Золя, великий персонификатор социальных категорий, олицетворил мотив капиталистической деятельности, прибыль ради прибыли, в Гундермане, все потребительские потребности которого удовлетворяются молоком и который, несмотря на то, вечно капиталистически деятелен». (Гильфердинг. — «Финансовый капитал».)

Когда Гундерман увидел Саккара, на лице его мелькнула слабая лукавая улыбка.

— А, это вы, добрый мой друг!.. Присядьте же на минутку; поговорим. Сию минуту я к вашим услугам.

Затем он точно забыл о нем...

Саккар спрашивал себя, зачем Гундерман принимает весь этот люд. Очевидно, у него была замечательная способность погружаться в себя, уединяться и продолжать нить своих мыслей в этой толпе; при том же этот прием служил для него как бы обзором рынка, на котором он всегда находил прибыль, хотя бы самую ничтожную...

Здесь проявлялась всемирная власть этого человека, у которого были свои послы при всех дворах мира, консулы во всех провинциях, агентства во всех городах и корабли на всех морях. Он не был спекулянтом, авантюристом, который ворочает чужими миллионами, мечтает о битвах и победах, о громадной добыче насчет заемных денег: он был, по его собственному выражению, простой торговец деньгами, самый рьяный и искусный, какого только можно себе представить... С минуту Саккар чувствовал себя подавленным при мысли, что все деньги, которыми он ворочал, принадлежат ему, что в его подвалах хранится неисчерпаемый запас товара, которым он торговал как опытный и благоразумный коммерсант, желающий все понимать, видеть и делать сам. Миллиард в таких руках — непреодолимая сила.

— Тут нам не дадут покоя, друг мой, — сказал Гундерман, вернувшись к Саккару. — Постойте, я сейчас буду завтракать, пойдемте в столовую, там, может быть, нам не будут надоедать.

Они перешли в маленькую столовую, где никогда не собиралась вся семья. На этот раз их было за столом только восемнадцать человек, в том числе восемь детей. Банкир садился в середине, перед ним ставили только стакан молока.

С минуту он сидел, закрыв глаза, страшно истомленный, с бледным, измученным лицом, искаженным болью, так как он страдал печенью и почками; потом дрожащей рукой поднес стакан к губам, отхлебнул глоток и вздохнул.

— Ах, я совершенно изнемог сегодня!

— Почему же вы не отдохнете? — спросил Саккар.

Гундерман с удивлением взглянул на него и наивно отвечал:

— Да ведь это невозможно.

В самом деле ему не дали даже спокойно выпить молоко; шеренга агентов потянулась в столовую, тогда как члены семьи, привыкшие к этой суматохе, смеялись и ели как ни в чем не бывало холодное мясо и пирожки, а дети, развеселившись от вина, подняли ужасный гвалт.

Саккар глядел на него и удивлялся, видя, с каким усилием глотает он свое молоко, медленно, точно давясь. Он питался только молоком, не мог есть ни мяса, ни мучной пищи. Но если так, на что ему миллиард? Женщины тоже никогда не соблазняли его; в течение сорока лет он был верен своей жене, а теперь должен был быть верен поневоле. Для чего же вставать в пять часов, надрываться над этой ужасной работой, обременять память цифрами, голову чудовищной массой дел? Зачем копить золото, когда не можешь купить фунта вишен на улице, развлекаться с женщинами, наслаждаться всем, что можно купить, ленью, свободой? И Саккар, который, при всей своей ненасытности, понимал бескорыстную любовь к деньгам ради могущества, которое они дают, почувствовал что-то вроде священного ужаса, глядя на эту фигуру. Это уж не классический скупец, копящий деньги, но безупречный работник, отрекшийся от всех

благ мира, сделавшийся почти бесплотным в своей страдальческой старости, упорно продолжая воздвигать здание миллионов с единственной целью завещать его потомкам, которые станут надстраивать его до тех пор, пока оно не будет господствовать над землею...

ПРИБАВКА НЕВОЗМОЖНА[1]).

(Леруа Скотт — «СЕКРЕТАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА».)

(Крупный промышленник, председатель «Союза предпринимателей металлических сооружений» Бакстер узнал от одного из своих наемных агентов, члена рабочего союза — Джонсона, — что правление союза собирается потребовать увеличения заработной платы на 10%). Вечером сообщение Джонсона стало темой беседы между Бакстером и его женой. Мистрисс Бакстер состояла в числе патронесс одного или двух клубов для работниц и участвовала в различных модных благотворительных предприятиях; поэтому она считала себя искренне заботящейся об интересах рабочих.

— Если вам это не грозит убытками, мне кажется, вы могли бы повысить им плату. Большинству из них следовало бы зарабатывать чуточку побольше. Они порядочные люди и ценят все, что мы для них делаем.

Бакстер немного помолчал, посматривая на жену с добродушием и иронией...

— Елизавета, — выговорил он наконец, — знаешь, сколько мы прожили за последний год?

— Нет.

— Около девяноста трех тысяч долларов.

— Так много? Но, в сущности, это ведь не такая уже крупная сумма. Совершенная безделица в сравнении с тем, что проживают некоторые наши друзья.

— В этом году, прибавляя наш дом в Нью-Норте, это составит на добрых тридцать тысяч больше; во всяком случае сто двадцать пять тысяч. Ну, а я не могу заставить домовладельцев оплатить увеличение заработной платы, как ты, повидимому, думаешь. — Он слегка улыбнулся при мысли о ее наивности в делах. — Сметы на работу, которую я должен выполнить в этом году, составлены все в соответствии с нынешним тарифом, а увеличить сметы я не могу. Если повышение в 10% будет дано, это целиком отразится на нашем доходе. Наш доход будет поэтому в этом году сведен к 75 тысячам. А если дела пойдут плохо, то и к пятидесяти.

Мистрисс Бакстер возбужденно вскочила с места.

— Как, да ведь это немыслимо!

— Придется отказаться от дома в Нью-Норте, — продолжал он, — сдать яхту в наймы и уменьшить наши расходы здесь.

Она в смущении смотрела на мужа. Ценою многолетних усилий она только что стала приобщаться к высшим кругам нью-нортского общества... Слушая слова мужа, она вдруг увидала, как все то, к чему она стремилась и что в последнее время казалось близким к осуществлению, исчезло в туманной дали неопределенного будущего.

---

[1]) Приводится для разбора при изучении разделения прибавочной стоимости на капитал и доход.

— Но мы не можем сократить расходов! — воскликнула она в отчаянии. — Просто не можем! Мы не можем жить здесь так, как предполагали. И нам придется поехать летом в Атлантик-Сити или в какую-нибудь подобную местность! Кто ездит в Атлантик-Сити? Как, неужели мы теряем все, что успели приобрести! Мы никоим образом не можем дать прибавку, Джемс. Это не подлежит сомнению!..

— И мы не дадим, — произнес Бакстер, тихонько ударяя пальцем по великолепно выточенной ручке своего кресла.

— Во всяком случае, если, положим, мы и истратим сто двадцать пять тысяч, почему из-за этого уменьшится плата рабочим, — остроумно добавила она.

Бакстер хорошо видел несостоятельность с точки зрения политической экономии этого рассуждения, но воздержался от выяснения ей лежащего в его основе софизма, видя, что ее совесть находит в этом успокоение...

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА КАПИТАЛА.

(Д. Гобсон — «ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА»[1]).

В то время, как масса капитала и труда, составляющих предприятие, постепенно растет, последний увеличивается менее быстро, чем первый...

В домашнем производстве стоимость употребляемых орудий обыкновенно равнялась заработку рабочего в течение немногих месяцев.

В 1845 году Мак Куллох рассчитал, что основной капитал хорошо обставленной бумажной фабрики приблизительно равняется двухгодичному заработку рабочего.

Профессор Маршалль считает, что в 1890 году капитал, потраченный на орудия производства в хорошо обставленной бумагопрядильне, равняется 200 ф. ст.[2]), или пятилетнему заработку каждого мужчины, женщины и ребенка...

Стоимость парохода эквивалентна может быть стоимости десятилетнего количества труда тех, которые его строят, в то время как капитал в 900.000.000 фунт. ст., потраченный на железнодорожные предприятия в Англии и Уэльсе, равняется 20-летнему труду 400.000 человек, работающих на этих дорогах...

В ФАБРИЧНОМ ЦАРСТВЕ.

(Г. Шульце-Геверницц — «КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»[3]).

Мы находимся в одном из тех предместий, которые фабричный город, точно полип — щупальцы, протягивает на лугах Ланкашира. Всюду, куда только хватает взор, рассеяны пяти-или шестиэтажные прядильни, опрят-

---

[1]) Гобсон — один из современных буржуазных экономистов. Для неподготовленного читателя книга трудна.

[2]) 1 фунт стерлингов = 20 шиллингов = 9 р. 45¾ коп. по довоенному курсу.

[3]) В своей книге, богатой цифровыми данными, автор выступает защитником капиталистической системы.

ные кирпичные здания с поднимающимися кверху фабричными трубами. Около 40 или 50 таких труб можно сосчитать одним взглядом, они сливаются с горизонтом и исчезают в нем, так как и самые города представляют один непрерывный ряд. Прибавьте ко всему этому — туманное небо и ту влажность атмосферы, которая, по мнению одного американского специалиста, дает для тонких номеров пряжи выигрыш в 7%.

С улицы мы непосредственно попадаем в фабричное здание, не проходя ни особого двора, ни ворот...

Посетитель с континента (с материка) вопросительно осматривается, попав во внутрь здания: где же рабочие?..

Когда мы входим, наконец, в прядильное отделение, мы попадаем в обширное, светлое и хорошо вентилируемое помещение. Оно имеет такую ширину, что рама с 1.250 веретенами умещается в нем свободно. Двумя такими рамами управляет один прядильщик с двумя своими помощниками...

В заключение нас проводят в машинное отделение. Котел сделан из отборной стали и, допуская свыше 100 ф. давления на квадратный дюйм, может обратить в час 8.000 английских фунтов [1]) воды в пар. Поршень пробегает 800 футов в минуту, против 240 в тридцатых годах.

Ни в одной из отраслей современной крупной промышленности нет зрелища, которое было бы более удивительно и вместе с тем лучше характеризовало бы тенденции нашего экономического развития: с одной стороны, гигантская машина-двигатель, с другой — тонкие, изящные исполнительные машины, выпускающие самый нежный продукт. Посредством хорошо рассчитанной передачи громадная сила разлагается, подводится к исполнительному механизму и приспособляется к нему. Почти нигде человеческая рука не вмешивается в процесс с какими-либо другими целями, кроме наблюдения, исправления погрешностей и доставки материала...

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

(Э. Синклер — «ДЖУНГЛИ».)

Фирма Дургам и К⁰ сама выделывала все, что ей было нужно. У нее был большой завод с паровыми машинами и своя электрическая станция. Была также богатая мастерская, котельная для починки паровых котлов. В одном здании собирали жир, чтобы делать из него сало и мыло; была также мастерская, где делались ведра для сала и ящики для мыла.

В другом здании шерсть подвергалась очистке и сушке для приготовления из нее подушек и других предметов; в одном месте сушили и очищали шкуры, в другом — из голов и ног приготовляли клей, еще далее кости превращались в удобрение.

У Дургама всякая частица вещества находила свое применение. Из рогов приготовляли гребни, пуговицы, шпильки для волос и поддельную слоновую кость. Из больших берцовых и других крупных костей делались рукоятки для ножей, зубных щеток и наконечники для папиросных мундштуков. Из копыт вырезывали пуговицы и шпильки для волос, — из остатка добывали клей. Из ног, суставов, нервов и обрезков шкур получалась странная и разнородная смесь: желатин, рыбий клей, фосфор, животный уголь, кожевенный лак и масло.

---

[1]) Английский фунт = 1,13 русского фунта.

В одних мастерских расчесывали хвосты, в других удаляли шерсть с овечьих шкур. Из желудков свиней извлекали пепсин, из их крови — альбумин, а зловонные внутренности шли на изготовление скрипичных струн. Когда, наконец, использовано было все, что возможно, — остаток собирали в чан, для получения сала и жира; отбросы шли на удобрение.

Все эти производства соединены были в строениях, находившихся одно возле другого и сообщавшихся галлереями и вагонетками с главным зданием. Полагали, что с основания фирмы стариком Дургамом, одно или более поколений тому назад, там было препарировано (переработано) около четверти биллиона животных. Если причислить к ней все другие крупные заводы (а теперь они образовали, в действительности, только один завод), то, как разъяснял своим спутникам Якубас, получалось грандиознейшее соединение труда и капитала, какое-когда либо удавалось человеку сконцентрировать в одном месте. Завод употреблял армию рабочих в 30.000. Непосредственно он кормил четверть миллиона людей, и косвенно давал заработок полумиллиону. Он высылал свои изделия во все концы цивилизованного мира и снабжал своими продуктами 30 миллионов людей...

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛА.

(Джэк Лондон — «ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА».)

Незадолго до выборов в конгресс, на которых Эрнест выступал в качестве кандидата социалистической партии, отец устроил званый обед... В числе гостей, между прочим, были мистер Овен, участник довольно крупной фирмы колониальных товаров; мистер Ковальт и мистер Вашберн — оптовые торговцы аптекарскими товарами, и мистер Асмунсен, владелец большой каменоломни, находившейся неподалеку от Сан-Франциско; остальные были владельцы мелких фабрик и предприятий,—словом, все это были мелкие капиталисты.

Это был народ интересный, неглупый и довольно искренний. Все они жаловались на крупные корпорации и тресты, с которыми им приходилось сталкиваться буквально на каждом шагу...

Мистер Асмунсен подробно рассказал о своих злоключениях. Оказалось, что, благодаря огромному спросу на строительные материалы, вызванному разрушением города Сан-Франциско памятным землетрясением и пожаром 1906 года, ему пришлось расширить свое предприятие не больше, не меньше как в восемь раз, а между тем, за шесть лет прибыль его не увеличилась ни на один доллар...

— Железные дороги осведомлены о моих делах так же хорошо, как и я сам. Они великолепно знают, каковы мои расходы и каковы условия каждого из получаемых мною заказов. Таким образом, стоит мне получить заказ, на котором я рассчитываю что-нибудь заработать, как они мигом поднимают цены за провоз камня из моей каменоломни в город.

— Ваш доход в общем равняется тому, что вы получали бы в виде жалования, если бы вы состояли управляющим на чужой каменоломне?— спросил Эрнест.

— Да, именно. И я недавно убедился в этом, когда подвел баланс за десять лет. Я бы ничего не потерял, если бы передал каменоломню железнодорожной компании, а сам поступил бы к ней на службу.

— Разница была бы только та, что тогда бы компании пришлось нести риск, который вы так любезно несете в настоящее время,— со смехом сказал Эрнест.

Эрнест сперва молчал, внимательно прислушиваясь к рассказам бедных капиталистов, но затем так и засыпал их вопросами. Начал он с мистера Овена.

— Вы месяцев шесть тому назад открыли в Берклэе отделение своих магазинов, не так ли?

— Да, — отвечал мистер Овен.

— С вашим появлением три мелкие лавки, существовавшие до вас, закрылись. Не знаете ли вы почему?

— Потому что им нельзя было с нами конкурировать. У нас дело большое, и, следовательно, наш товар лучше, и обходится он нам дешевле. Расходы по ведению дела у нас также менее значительны.

— Таким образом, ваша новая лавка захватила все доходы трех первоначальных лавочников... Ну, а не знаете ли вы, что сталось с этими господами?

— Один из них поступил к нам развозчиком, а об остальных двух я ничего не знаю...

— А вы, мистер Асмунсен, вы потому недовольны железными дорогами, что они съедают все ваши барыши? Вам самому хотелось бы пользоваться ими, не правда ли? Насчет других?— спросил Эрнест...

— В деле барыши всегда делаются насчет кого-нибудь.

После него говорили другие, и все единодушно признавали, что тресты должны быть уничтожены.

— Бедные слепцы, — шопотом сказал мне Эрнест, — они ничего не видят дальше кончика своего носа...

Несколько времени спустя он снова взял слово и уже до конца всецело руководил беседой.

— Я внимательно прислушивался к вашим речам, — сказал он, — и вижу, что для вас вся жизнь выражается в барышах, что вы считаете себя созданными исключительно для того, чтобы их получать. Но вдруг к вам врывается трест и захватывает все ваши барыши. Это сразу переворачивает все ваши привычные представления о деловой этике (правилах поведения), и вы видите единственное свое спасение в том, чтобы уничтожить зловредные тресты. Слушая вас, я пришел к заключению, что вы не что иное, как разрушители машин... Их пример, однако, не пошел вам в прок, и полтора столетия спустя вы, в свою очередь, принимаетесь за разрушение машин. Вы отлично знаете, что машина-трест работает лучше и дешевле вас, и, тем не менее, хотите ее уничтожить. Но, пока вы мечтаете о восстановлении свободной конкуренции, тресты вас съедают. Конкуренция сменяется объединением капитала. Вы, мистер Овен, съели в Берклэе три бакалейные лавки, потому что вы были сильнее вооружены, чем они; но вы все-таки жалуетесь, так как есть фирмы более сильные, чем вы, и они для вас опасны. Но если бы существовал бакалейный трест и вы приняли бы в нем участие, то вы не жаловались бы, а благословляли его.

— «Вы все, господа, ведете волчью игру; вы стараетесь пожирать мелких конкурентов, а вас, в свою очередь, пожирают железнодорожный трест, керосиновый трест, стальной трест, каменноугольный трест и т. д. Вы радуетесь, когда едите сами, но жалобно пищите, когда вас едят другие... Вы добиваетесь чуда: Иисус Навин только остановил солнце, вы же хотели бы заставить солнце повернуть вспять. Вы хотели бы возвратиться к тем блаженным временам, когда не было крупного произ-

водства, не было крупных финансистов, не было грандиозных железнодорожных предприятий и когда беспрепятственно происходила анархическая борьба мелких капиталистов между собою. Но, увы, Иисусу Навину помогал бог, от вас же, мелких капиталистов, бог отвернулся. Солнце мелкого капитала склоняется к закату, и ничто не остановит его движения. Вы осуждены на гибель — таков непреложный ход эволюции...

— Что же нам, однако, делать? — спросил мистер Ковальт. — Ведь если мы не уничтожим трестов, то они нас съедят.

У Эрнеста тотчас же загорелись глаза, и он с увлечением воскликнул:

— Нет, есть и другой путь! Зачем уничтожать эти удивительные организации, ускоряющие и удешевляющие производство? Их надо забрать в свои руки и воспользоваться ими для общего блага, предварительно отстранив их теперешних владельцев. Это, господа, и будет социализмом, т.-е. организацией еще более крупной, чем тресты, и, вместе с тем, более совершенной. Если мы сделаем это, то поступим согласно с законами эволюции, т.-е. совершенной организации противопоставим еще более совершенную, которая неизбежно победит. Перейдите на сторону социализма, на ту сторону, которой предстоит победа!..

ПРОИЗВОДСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ.

(Д. Гобсон — «ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОГО КАПИТАЛИЗМА».)

На суконной фабрике работает девушка на швейной машине; фабриканту был предложен вопрос, сколько труда сберегла ему эта машина, на что тот ответил, что она сберегла ему труд 12 человек. «Что же будут делать эти 12 человек?» — спросили фабриканта далее. — «Они получат, может быть, гораздо более выгодную работу в другой индустрии, чем если бы они работали у меня». — «В какой же другой индустрии?» — был следующий вопрос.

Но фабрикант не мог указать ни на одну индустрию, разве на фотографию, и наконец он сказал, что рабочие, вероятно, могли бы получить работу при устройстве швейных машин. Недолго после этого то же лицо посетило американскую фабрику швейных машин Зингера, находящуюся недалеко от Глазго. Оно отправилось в сопровождении того же фабриканта сукон, и, прохаживаясь по фабрике, они увидели тот же род машин, которые имеются на фабрике этого суконщика. Тогда они обратились с вопросом к управляющему: сколько времени нужно потратить на приготовление одной машины? Он ответил, что не может этого знать, так как ни один человек не делает целой машины, в приготовлении одной машины участвуют до 30 чел., «но, — сказал он, — если б они занимались приготовлением только этих машин, то одному человеку пришлось бы работать $4^1/_2$ дня для приготовления одной машины».

Итак, там была машина, которая при помощи девушки, работающей на ней, исполняла работу двенадцати человек в продолжение десяти лет, и собственник этой машины полагал, что эти двенадцать человек получат работу при приготовлении другой машины, между тем как работа одного человека в продолжение $4^1/_2$ дней вполне достаточна, чтобы сделать машину, которая в состоянии вытеснить двенадцать человек...

У ФАБРИЧНЫХ ВОРОТ.

(Э. Синклер — «ДЖУНГЛИ».)

Наступила ужасная зима с бурями и вьюгами.

Все предместье выбивалось из сил в предсмертной борьбе, и люди умирали сотнями. Они были в течение целого года составными частями огромного механизма; наступал час обновления, и старые части заменялись новыми.

Жестокий ветер, холодный, пронизывающий, снежные бури постоянно истощали измученных людей, с ослабевшими мускулами и неправильным кровообращением. Рано или поздно те, которые не могли вынести их губительного действия, должны были оставить работу, и их без всякого сожаления немедленно заменяли другими рабочими.

Этих новых рабочих всегда можно было найти целыми тысячами.

Толпа людей, без гроша в кармане и умиравших с голоду, весь день осаждала ворота фабрики. Они буквально целыми тысячами появлялись там каждое утро и дрались, чтобы пробраться поближе к входу, надеясь получить средство к существованию. Холод и ветер не пугали их, они всегда были там, появляясь за два часа до восхода солнца, за целый час до начала работ. Им случалось отмораживать себе там лицо, или руки, или ноги, иногда они совершенно замерзали, но все-таки приходили туда, потому что им больше некуда было итти.

Однажды Дургам поместил в газете объявление о том, что ему нужно двести человек, чтобы колоть лед; весь этот день бесприютные и голодающие тянулись к фабрике со всех концов громадного города, с трудом пробираясь по снегу. Ночью человек восемьсот столпились в полицейском участке скотобоен. Они наполнили все залы, засыпали на коленях друг у друга, сидя на корточках, забрались во все коридоры, так что полиция, наконец, закрыла двери, оставив несколько человек мерзнуть на улице.

На следующее утро, еще до рассвета, их явилось к Дургаму больше трех тысяч. Пришлось вызвать резерв полиции, чтоб сдерживать эту огромную возбужденную толпу, и надзиратели выбрали двадцать человек из числа самых сильных, здоровых на вид. Цифра 200 оказалась... газетной опечаткой...

ПОБЕЖДЕННЫЕ.

Стих. Ады Негри.

Сотни их, тысячи... словно морские
Волны шумящие, ветром гонимые,
Движутся полчища эти людские,
Неисчислимые.

Движутся медленно так... ряд за рядом;
Волны подходят, тяжелые, ровные...
Впалые очи с горячечным взглядом,
Лица бескровные.

Вот подошли ко мне!... Море разбитых
Жизней в борьбе за грядущее темное;
Грубых одежд и голов непокрытых
Море огромное.

Вот окружают — сомкнулись... И ясно
Слышу я медленный хрип их дыхания,
Голос проклятий, звучащих напрасно,
Вздохи, стенания.

«От очагов мы пришли разоренных,
Где под золою ни искры не тлеет,
С бедных постелей, где в муках бессонных
Тело слабеет.

«Из шалашей, из землянок пришли мы.
Мрачно ползут по земле наши тени —
Скорби исполненный, необозримый
Сонм привидений!..

«Луч идеала сиял нам в ненастье;
Это сияние нас обмануло;
Счастья любви мы искали,—и счастье
Нас оттолкнуло.

«Труд нас отверг, — хоть и были бы рады
Силы отдать мы и ночи бессонные.
Где же исход? где надежда?... Пощады!
Мы — побежденные.

«Всюду под солнцем, в лучах его жгучих
Всюду живет и смеется, ликуя,
Счастье труда и усилий могучих
И поцелуя.

«Труд и умы призывает, и руки:
Мощь их железо и пар покоряет;
Смелым борцам яркий светоч науки
Путь озаряет.

«Тысячи жизней на подвиг стремятся,
К жертве святой от станка и от плуга;
Тысячи уст опьяненных томятся
Жаждой друг друга...

«Мы только лишние! К жизни порогу
Дали нам стать, но во храм не впустили;
Всюду незримые стены дорогу
Нам преградили.

«Кем же воздвигнуты эти преграды?
Чьим же проклятьем на век осужденные,
Жить не имеем мы права?... Пощады!
Мы — побежденные!»

РАБОТЫ ИЛИ В ТЮРЬМУ.

(М. Туган-Барановский — «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРИЗИСЫ».)

12-го октября 1887 г. в здание суда в Баустрите (улица в Лондоне) к судье сэру Джемсу Ингэму явилась депутация из пяти человек от имени многочисленной толпы безработных, стоявших на улице, и на вопрос, что ей нужно, один из депутации заявил от имени своих товарищей, «что им нужна работа, что они всячески искали работы, но не могли ее найти, и что многие из них находят, что лучше, чем переносить все это, попросить судью заключить их в тюрьму на 3 месяца. Они предпочитают тюрьму блужданию по улицам и ночам на Трафальгарской площади». Между судьей и депутацией завязывается следующий диалог:

Сэр Джемс Ингэм. — Кто вы?

— Я портной и без работы четыре недели.

Сэр Джемс. — Вы обращались за помощью к приходу?

— Нет. Я прошу вас посадить, вместо этого, меня в тюрьму: в тюрьме лучше обращаются с людьми, чем в рабочем доме.

Сэр Джемс. — Каждый из вас прекрасно знает, что суд совершенно не может исполнить вашу просьбу. Суд не может посадить никого в тюрьму, если он не заслуживает того нарушением закона... Мой ответ таков: я не имею права посадить вас в тюрьму.

— Имею я право предложить вашей милости еще один вопрос?

Сэр Джемс. — Пожалуйста.

— Безработные такого же мнения, как и ваша милость, что их не посадят в тюрьму, если они не сделали какого-либо преступления, — вроде разграбления булочной. Они хотят знать, если человек в синей куртке с светлыми пуговицами (полицейский) подтвердит, что они разбивали окна и грабили булочные и мясные лавки, вы исполните их просьбу?

Сэр Джемс. — С вашей стороны крайне дерзко предлагать такие вопросы. Потрудитесь удалиться.

Депутация приходит в возбуждение. Раздаются восклицания: «Мы не хотим умирать голодной смертью! Мы хотим работы! Посадите нас в тюрьму!».

Сэр Джемс. — Вы не заслуживаете сожаления. Удалитесь из здания суда.

Депутация уходит и возвращается к толпе, ожидавшей ее на улице; толпа удаляется процессией с флагом впереди, на котором красуется надпись: «Мы хотим работы или хлеба» [1]).

МЕРТВЫЙ СЕЗОН [2]).

(Э. Золя — ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ».)

Когда настал мертвый сезон, панический вихрь промчался по магазину «Счастье Дам». То был страх перед увольнением. Дирекция удаляла служащих целыми массами, очищая магазин, свободный от покупательниц в течение июльских и августовских жаров.

Каждое утро, производя свой обход вместе с Бурдонклем, Мурэ отводил в сторону заведующих отделами, которых заставлял зимою, для того,

---

[1]) «Таймс», 13 октября 1887 г.

[2]) Для иллюстрации текучего перенаселения.

чтобы не страдала торговля, приглашать совершенно лишних приказчиков, и приказывал им выбирать лучшую часть своего персонала. Теперь все дело было в том, чтобы уменьшить расходы, выбросив на мостовую добрую треть продавцов, слабых, позволявших сильным пожирать себя.

— Слушайте, — говорил он, — у вас тут найдутся такие, которые вам ни на что не годны... Нельзя же их держать для того, чтобы они сидели сложа руки.

И если начальник отдела колебался, не зная, кого принести в жертву, Мурэ прибавлял: — Ну, устраивайтесь как-нибудь, с вас довольно будет шести приказчиков... Возьмете их сызнова в октябре. На улице их довольно шляется!

К тому же Бурдонкль сам брал на себя расправу. С его тонких губ слетало ужасное: «Ступайте в кассу!» — фраза, упадавшая, как удар секиры. Все служило ему предлогом для удаления мусора. Он изобретал проступки, основывал свои расчеты на самых мелких небрежностях: «Вы позволили себе сесть, сударь: ступайте в кассу! Вы, кажется, отвечать вздумали? Ступайте в кассу! У вас ботинки не вычищены, ступайте в кассу!» Самые смелые трепетали перед тем избиением, которое он совершал. Но механизм этот действовал не достаточно быстро, и он придумывал западню, в которой в течение нескольких дней задушил без труда изрядное количество приказчиков, осужденных на гибель заранее. С восьми часов он становился у двери с часами в руках. И после трех минут опоздания, безжалостное: «Ступайте в кассу!» падало ударом топора на запыхавшихся молодых людей. Таким путем дело обделывалось быстро и чисто.

— У вас противная физиономия! — сказал он, наконец, обращаясь к какому-то бедняку, у которого был раздражавший его нервы кривой нос. — Ступайте в кассу!

Избранники получали двухнедельный отпуск, в продолжение которого им ничего не платили, что представляло более гуманный способ сокращения расходов. Несмотря на все это, продавцы мирились со своим ненадежным положением, подчиняясь бичу нужды и привычки...

СКРЫТОЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ.

(Р. Базен — «ВОЗРОЖДАЮЩАЯСЯ ЗЕМЛЯ».)

Жильбер шел к Дюрже, жившему на самом краю поселка, в одном из беднейших домов. Он застал его за обедом из картофеля, приправленного маслом и уксусом, и полбутылкою вина...

— Здравствуй, Дюрже! Видно, у тебя, как и у меня, на мясо денег не хватает?..

— Да, плохи дела. Если так и дальше пойдет, не на что будет воспитывать семью...

— Кажется, что так! — рассмеялся Жильбер. — Беда в том, что косить негде. Все обзавелись машинами, за исключением мосье Мишеля. Я кошу у них уже двадцать лет — с тех пор, как ушел с фермы. Что, если я устрою, чтобы тебя наняли?

— Скажу тебе спасибо, старина, но ты ошибаешься: все они одного поля ягода. Он тоже покупает машину.

— Чорт побери! Что ты говоришь? Не захочет же он отнять у меня работу!

— Люди слышали, как он разговаривал с поставщиком еще в марте месяце.

— Знаешь что, Дюрже, пойдем со мной к мосье Мишелю. Я знаю его, он нас примет. Я уверен, что все это — россказни и сплетни...

Простившись с хозяйкой, они вышли, и дорогою Жильбер предложил прихватить с собою Дизнефа, также коснвшего у Мексимье лет двадцать. Толкуя о прежних сенокосах, они зашли за стариком-каменщиком, которому было уже лет шестьдесят... Все трое, идя рядом, поднялись к замку, отделенному от леса зеленою лужайкою...

Мишель появился на шум голосов...

— В чем дело?..

Они не сразу ответили. Сначала они уселись, поговорили о погоде, и, наконец, Жильбер, поглаживая бороду, спросил:

— Мосье Мишель, правда ли, что у вас будет косилка?

— Я подумывал об этом, Жильбер, но ничего еще не решил.

— Нехорошо, что вы думали об этом. Разве я плохо у вас работал?

— И я тоже, — уже громко проговорил старик Дизнеф, — сколько лет я работаю на ваших лугах!

— Рабочему человеку надо чем-нибудь жить, — сказал Дюрже, вытягивая шею, — машина обкрадывает рабочего.

— Вы не сделаете этого, мосье Мишель. Это будет несправедливо.

Голоса повышались; они придвинули свои стулья к креслу Мишеля.

— Довольно и без вас найдется буржуа, которые отняли у нас работу. Вы — последний. Мы работали на ваших деда и бабку...

— Не покупайте машины, мосье, не делайте этого ради ваших интересов!

— Не так ты говоришь, Дюрже, — прервал Жильбер, — ради дружбы к нам, надо сказать.

— Не надо машин! Отдайте нам работу...

Все трое глядели на него загоревшимися глазами; во взоре старших не было угрозы, но взор младшего выражал вызов.

— Послушай, Жильбер, и также вы, Дизнеф, выслушайте меня! В виду того, что вы — старые друзья нашего дома, я отказываюсь на нынешнее лето от покупки машины, но под условием: заработная плата — три франка [1]) в день.

— Это обычная цена, — сказал Жильбер.

— Синдикат согласен на эту плату за весенние работы, — отозвался Дизнеф; — значит — по рукам.

— Три франка пятьдесят! — с живостью сказал Дюрже.

— Я заплачу три франка. Вы можете высчитать, что десять косцов по три франка в день обойдутся мне за восемнадцать-двадцать дней столько же, сколько мне стоила бы машина. Я заключаю ради вас невыгодную для себя сделку. Согласны?

— Три франка пятьдесят! — повторил Дюрже, — я не согласен взять меньше.

— Тогда я найму только Жильбера и Дизнефа. Сожалею о вас, Дюрже, так как вы — хороший рабочий. До-свидания.

Старшие были довольны, но не смели слишком явно этого выказывать. Дюрже упорно молчал и едва кивнул головою Мишелю де-Мексимье. Они вышли втроем...

Жильбера Клоке постигло разочарование: он не получил обещанной работы.

Взбешенный Дюрже нажаловался председателю синдиката; обычные фразы насчет эксплоатации и нарушения справедливости возымели свое

[1]) 1 франк = 100 сантимам = $37^1/_2$ коп. по довоенному курсу.

действие, и тот от имени синдиката запретил Жильберу и Дизнефу взять работу по три франка в день... К концу мая привезли косилку — новенькую с иголочки, с колесами и сиденьем, выкрашенными в красный цвет, с остро отточенными лезвеями...

Наступила пора сенокоса, и однажды вечером, призвав управляющего, Мишель, указав ему на длинную полосу лугов, расстилавшуюся между лесом и загородкою овсяного поля, сказал:

— Завтра начнем косить. Пошлите туда к пяти часам двоих из наших людей...

Мишель де-Мексимье, в соломенной шляпе и белом полотняном костюме, сам занял место на железном сиденьи, под которым находится автоматическая коса...

Он взял ременные повода и свистнул. Солнце позолотило крупы лошадей. Зубцы пилы вонзились в траву, и скошенная, еще влажная от росы, трава упала под ударом. Позади двигавшейся безостановочно, с мерным постукиванием машины, трава ложилась широкою полосою. Мишель радовался превосходному качеству машины и тому, что, наконец, он работает собственноручно. Он быстро подвигался и скоро догнал рабочих, прочищавших путь машине.

— Пропустите! — крикнул он, — я обойдусь и без расчистки.

Он жертвовал несколькими копнами... Лошади дымились от пота. Вдруг одна из них споткнулась, почти упала, но снова вскочила на ноги; машина была отброшена в сторону и, завертевшись на месте, свалилась набок. Мишель, отброшенный шага на три, упал на сено. Машина была сломана.

Он вскочил, подбежал к лошадям и остановил их. В то же время на опушке леса показалось двое людей, а третий, прятавшийся в овсе, закричал:

— Браво! Долой всех буржуа!

Мишель обернулся в ту сторону, но люди уже исчезли. Рабочие сбежались, они осматривали место происшествия.

— Вот, поглядите, мосье Мишель! — сказал один.

Он держал в руке кусок проволоки, бывшей, очевидно, укрепленною между двух кольев и скрывавшейся в высокой траве...

— Отведите лошадей, — сказал Мишель, останавливая рабочего. — Через два дня у меня будет новая машина, и сам буду править ею. Можете сказать это всем на деревне...

В СТРАДНУЮ ПОРУ [1]).

(Э. Синклер — «ДЖУНГЛИ».)

В Миссури Юргис пришел в самый разгар уборки хлебов; чувствовался сильный недостаток в рабочих руках. Поезда привозили рабочих из других штатов, но и их было мало. Фермеры, рисковавшие в продолжение трех недель потерять урожай целого года, увозили к себе рабочих чуть не силой прямо со станций. Цены стояли необычайные: 2 — 3 доллара в день на всем готовом. Трудно было не заразиться этой лихорадкой.

Юргис присоединился к одной партии рабочих и проработал без перерыва две недели по восемнадцать часов в сутки и заработал такую сумму,

---

[1]) Настоящий отрывок приведен для характеристики застойной формы относительного перенаселения.

которая год тому назад показалась бы ему целым состоянием. А на что ему теперь, бездомному бродяге, эти деньги? Положить в банк? Но он не знал, где и как это сделать. Носить с собой? — наверное убьют или ограбят, так уж лучше покутить и пожить в свое удовольствие. И вот в одну из суббот с веселой компанией он попал в город и прокутил все в одну ночь, заливая вином стыд и мучившие его воспоминания.

На утро, без гроша в кармане, он опять вышел на большую дорогу. Так как от природы он все же был человек честный, то сознание сделанного мучило его. Его прошлая жизнь стояла перед ним и не давала возможности заглушить совесть и отогнать чистые воспоминания прошлого.

С наступлением осени Юргис отправился обратно в Чикаго. Весь его капитал состоял из 15 долларов, которые он сохранил, боясь зимы и безработицы. Приехав в город, спрятавшись за тюками и ящиками в товарном поезде, Юргис прежде всего отправился на сталелитейный завод, но, конечно, место его там давным-давно было занято. Началось опять бесконечное хождение с одного завода на другой.

ЭМИГРАНТЫ.

(Ж. Экхуд — «НОВЫЙ КАРФАГЕН».)

Бежар, Сен-Фардье и Вера-Пинто выбрали удобный момент для торговли белым мясом, «слоновой костью», как говорил де-Патер. От этой отвратительной торговли предстояли большие барыши. В их тесных конторах двери положительно не закрывались. Сен-Фардье восседал, направляя эти орды бедняков. Он же посылал вербовщиков по всей стране.

Зародившись в Ирландии, эмиграция перекинулась в Россию, Германию, затем — на север Франции. Тысячи иностранцев уже покинули родину, прежде чем этой лихорадкой заразились бельгийцы.

Сначала зараза появилась среди рабочих Боринажа и округа Шальруа, среди шахтеров, трудная подземная работа которых едва-едва лишь не давала им умереть с голоду...

Опустошив Валлонию, эмиграционная лихорадка перекинулась во Фландрию. Ткачи и нитепрядильщики из Гента с легкими, засоренными хлопчато-бумажной пылью, собрались и переехали в Америку, как несколько веков тому назад их предки эмигрировали в Англию.

Наконец, движение перешло в Антверпенский округ...

Прежде отъезд крестьянина или рабочего ужасал весь квартал, весь приход. На него смотрели, как на отчаянный шаг...

Но затем эмиграция вошла в нравы порядочных людей...

Те же землеробы, которые никогда не согласились бы переменить свой труд, как он ни тяжел и ни неблагодарен, на выгодную работу в городе, теперь вдруг поддались эмиграционному безумию и уезжали массами...

Долго противились их верные сердца. Пока еще удавалось кое-как поделить корку черного хлеба и ведрышко картофеля, они крепились, подтянув животы и упершись в своей привязанности к родине, подобно древним христианам, упорно державшимся своей веры. Но с того момента, как жены и даже дети стали голодать, их мрачный героизм прошел, и в одно печальное утро они решились подвергнуться изгнанию, как примиряются с мыслью о самоубийстве.

Дело решонное. Семья покидает родную избу. Глава дома отказывается от арендной земли, распродает скот, лошадей, повозки и весь инвентарь.

Эта уступка со стороны наиболее верных родной земле крестьян вносит тревогу в остальное население; паника перекидывается от колокольни к колокольне...

Фермеры, которые могли бы еще продержаться несколько лет и бороться с кризисом, пугаются и следуют за батраками и голодающими. Они видели столько своих соседей, более богатых, чем они сами, которые всегда надеялись, выносили все испытания и беды, до тех пор, пока недороды, усугубленные заокеанской конкуренцией, не заставляли их на старости лет поступать батраками на ту же ферму, где они прежде сами хозяйничали.

Более дальновидные увозили с собой инвентарь и скот. Они смело отправлялись в эти плодородные страны, в эти обетованные земли, в страны изобилия, в эти Америки, засыпанные хлебом и плодами, жирным скотом и сочным мясом, запружавшим через океан европейские рынки и глушившим жалкие урожаи, вырванные у наших истощенных пашен и лугов. Вместо того, чтобы ждать окончательного разорения, труженики дряхлой Европы спешили перейти на более обильный континент.

И, чтобы внести окончательное замешательство и превратить в номадов этих оседлых селян, красноречивые, ловкие и лукавые вербовщики странствовали от села к селу, заходили в ярмарочные дни в кабачки, пользовались упадком духа бедных людей, кошельки которых отощали после праздничного разгула, и смущали их миражами благоденствия...

— Нам нужно иметь сто тысяч бельгийцев, и через полгода они у нас будут, — заявили Бежар, Сен-Фардье и Вера-Пинто.

И нанятые вербовщики тотчас же взялись за дело...

За каждую голову фламандца полагается от пятнадцати до двадцати франков, смотря по качеству товара.

Но они скрывают свою заинтересованность. Послушать их, они самые бескорыстные апостолы, чистейшие филантропы, всецело преданные крестьянам.

Их речи сверкают золотом и солнцем...

Иногда искуситель умолкает, чтобы передохнуть и дать простакам, оглушенным обещаниями, время насладиться и надышаться этими благоухающими образами.

Затем он расхваливает мягкость температуры, здоровый климат, вечную улыбку времен года, говорит об отсутствии ураганов, разбивающих надежды земледельца и губящих жатву.

Там труд легок, как отдых. Нет собственников, нет хозяина, нет ни забот, ни налогов; ни арендной платы...

СТАРЫЙ РАБОЧИЙ.

(С. Обрадович. — «ИЗ ПРОШЛОГО».)

Выкинут... выброшен... больше не годен...
Слабы глаза да и сам весь ослаб...
Мочи нет, высох, как щепка... Свободен!..
Больше не раб!..

Руки повисли, мозолисты, грубы...
Стал у стены и поник сединой...
Тяжко дышали фабричные трубы
В свод голубой...

С грохотом молоты в грудь наковален
Бились, дрожала от гула стена.
Что ж ты так хмур, так угрюм и печален?..
Эй, старина!..

Впала и высохла грудь от работы;
Бед испытать ей немало пришлось...
Пережил сына: труда и работы
Бедный не снес...

Честно работал с утра и до ночи...
Силы не стало в тяжелые дни...
Выкинут... выброшен старый рабочий!..
Что ж, отдохни!

Что ты задумался?.. Мутной слезою
Старческий взор затуманился... Миг.
Тянутся руки к прохожим с мольбою.
Что ты!!?.. Старик?!!

РАБОТНЫЙ ДОМ.

(Джэк Лондон—«ПОД ГНЕТОМ ИМПЕРИАЛИЗМА».)

Рабочий дом — это такое учреждение, где каждый бездомный и не имеющий гроша в кармане человек может найти себе приют и пропитание, но при условии адской работы...

Чтобы попасть туда, надо стать на дежурство чуть не с раннего утра...

После двух неудачных попыток попасть в Уайтчэпельский рабочий дом я решил взяться за дело поэнергичнее, и в один прекрасный день выбрался из дому спозаранку, так что, когда я стал в очередь, было всего два часа. Хотя впуск был в шесть, тем не менее я оказался под номером двадцатым. Скоро стало известно, что впустят всего двадцать два человека. К четырем часам прибавилось еще десять человек, надеявшихся на какое-то чудо...

Оба мои соседа попали в положение бездомных бродяг благодаря болезни. Из-за болезни пришлось бросить работу и очутиться не у дел. Три бессонные ночи заставили их, в конце концов, обратиться за помощью к рабочему дому.

Видимо, не одна старость приводит к порогу рабочего дома, но и болезнь и несчастный случай. Позднее я разговорился еще с одним ночлежником, которого звали «Перец». Год тому назад он служил у одного торговца рыбой. Раз как-то ему пришлось тащить очень тяжелый ящик, и, в результате, он надорвался и был отправлен в больницу. В больнице на него не обратили должного внимания и, продержав без толку четыре часа, отпустили на все четыре стороны. Но едва он очутился на улице, с ним сделался новый припадок, еще более сильный, чем первый. Во второй больнице его вылечили, но он навсегда лишился возможности возиться с тяжестями. А так как он мог зарабатывать свой кусок хлеба только таким путем, то после выхода из больницы ему ничего другого не оставалось, как сделаться никчемным человеком, пополнить армию «независимых» граждан и терпеливо ждать смерти под забором...

В шесть часов наша линия зашевелилась: начался впуск. Входя, каждый должен был объявить свое имя и фамилию, возраст, род занятий, место рождения, степень бедности и где провел предыдущую ночь. Ответив на все эти вопросы, я собирался двинуться дальше, но в это время один из служащих, сунув мне в руку что-то похожее на кирпич, прокричал в самое ухо:

— Нет ли ножей, спичек или табаку?

— Нет, сэр, — солгал я, как лжет всякий входящий в рабочий дом.

Спускаясь по лестнице в подвал, я разглядел таинственное подношение и увидел, что это не что иное, как хлеб, который, благодаря своей черствости и солидному весу, напоминал настоящий кирпич. В подвале было очень темно. Не успел я войти в него, как опять кто-то сунул мне в свободную руку миску с супом. После этого я попал в другую комнату, еще более темную, в которой стояли столы и скамейки и сидели люди. Промозглый, одуряющий вонючий воздух, мрак, сдавленный шум голосов, доносившийся из этого мрака, все это производило впечатление какого-то преддверия в преисподнюю...

Окружавшие меня люди уплетали во-всю, макая свой хлеб в соль, рассыпанную по грязным столам. Я заставил себя последовать их примеру...

Мне удалось с невероятным трудом проглотить несколько ложек бурды, называемой супом, и осилить микроскопическую часть хлеба, от остального же я решительно отказался. Тем не менее, моя порция не пропала даром, ибо мой сосед с удовольствием докончил ее, после того как с жадностью проглотил свою собственную. Но и это не удовлетворило его вполне, так как по лицу его было видно, что он не прочь съесть еще столько же...

Около семи часов нас позвали мыться и спать...

После мытья я получил чистую рубашку, чистота которой была настолько сомнительна, что невольно являлся вопрос: сколько человек до меня ее надевали?

Кроме рубашки я получил еще два одеяла и направился в спальное отделение. Последнее представляло собой длинную, узкую комнату, пересеченную двумя толстыми железными прутьями. Между этими двумя прутьями были натянуты куски холста, каждый длиною в шесть футов и шириною около двух. Это были кровати. Расстояние между кроватями равнялось шести дюймам, вышина же каждой из них — восьми. Главное затруднение заключалось в том, что голова была выше ног, вследствие чего спящий постоянно сползал вниз. Кроме того, когда кто-нибудь двигался, то это отзывалось на всех остальных, — кровати начинали качаться словно люльки.

Заснул я не скоро. С улицы все время долетали визг и плач детей, долго еще игравших на тротуарах. Воздух в спальне был такой, что от него прямо тошнило...

Забывшись к утру, я был скоро разбужен крысой, примостившейся на моей груди.

В шесть часов нам снова дали супа и хлеба, но я не прикоснулся ни к тому, ни к другому. После этого нас засадили за работу, при чем восьмерых, и в том числе меня, отправили через улицу к Уайтчэпельской больнице для уборки больничных отбросов. Хотя возложенное на нас поручение было крайне непривлекательным, тем не менее наша партия вызвала всеобщую зависть, и попавшие в нее сочли себя в высшей степени счастливыми.

— Будьте осторожнее с мешками, — предостерег меня мой помощник, опоражнивая свое ведро в находившийся в моих руках мешок. — Сиделка говорит, что эти мешки — сплошная зараза.

Мешок действительно принадлежал больнице. Я принял к сведению слова товарища, но, тем не менее, мне пришлось провозиться с ним долгое время, так как моя обязанность заключалась в том, что, всякий раз как мой партнер нагружал его всякой дрянью, я должен был спускаться в специальное помещение и там его разгружать, после чего приносимое поливалось сильно действующим дезинфекционным средством...

В восемь часов нас повели в какой-то погреб, под самой больницей, где нам предложили чай вместе с больничными объедками, сваленными на большое блюдо. Чего только там не было! Куски хлеба, сала, свинины, всевозможные кости, словом, разная разность, побывавшая, в лучшем случае, в руках, а в худшем — во рту обитателей больницы.

Приглашенные накинулись на угощение как голодные звери. Ели все, что только ни попадалось под руку, а когда наедались, то вынимали свои носовые платки, напоминавшие грязные тряпки, и, наполнив их, прятали узелок за пазуху.

— Будучи как-то раз здесь, я случайно заметил в той яме, куда мы сваливали сегодня нечистоты, — сказал мне Перец, — несколько свиных ребер, на которых целыми клоками висело вкусное мясо. Схватив эти ребра, я бросился к калитке и выскочил на улицу, желая кого-нибудь угостить. Но так как поблизости никого не оказалось, то я пустился бегом вдоль улицы. За мной погнался служащий из рабочего дома, думая, что я хочу удрать. Но, прежде чем он нагнал меня, я успел бросить свиное мясо какой-то старухе — попал ей прямо в передник...

Существует правило, согласно которому попавший в рабочий дом должен пробыть в нем две ночи и один день; но я, достаточно насмотревшись на удручающую обстановку и получив надлежащее впечатление, решил прервать свое заключение раньше установленного срока.

— Давайте-ка юркнем, — предложил я одному из своих сотрудников, указывая на открытые ворота, через которые проехал трупный фургон.

— Зачем? Чтобы засесть на четырнадцать дней?

— Нет, чтобы удрать.

— Да, ведь, я пришел сюда, чтобы отдохнуть, — последовал ответ, — так к чему же мне отказываться от второй ночи?

Остальные шесть человек были такого же мнения по данному вопросу. Тогда я решил удрать один.

— Но имейте в виду, что для вас этот дом уже будет закрыт навсегда, — заметили в один голос все «жильцы поневоле».

— Ну, и шут с ним! — произнес я с непонятным для них жаром и, шмыгнув в ворота, понесся стрелой...

БОСЯК.

(М. Горький — «ЕМЕЛЬЯН ПИЛЯЙ».)

— Ничего больше не остается делать, как итти на соль! Солона эта проклятущая работа, а все ж таки надо взяться, потому что этак-то, неровен час, и с голоду подохнешь.

Проговорив это, мой товарищ Емельян Пиляй в десятый раз вынул из кармана кисет, и убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зноем небо. Мы с ним лежали на песчаной косе верстах в 3-х от Одессы, откуда ушли, не найдя работы, и теперь, голодные, обсуждали вопрос, куда итти...

Я взглянул в сторону гавани, где возвышался сплошной лес мачт, окутанных клубами тяжелого черносизого дыма, и откуда плыл над морем нестройный, глухой шум якорных цепей, свист локомотивов, подававших груз, и оживленные голоса рабочих, грузивших суда. Я не усмотрел там ничего, что бы возродило нашу угасшую надежду на заработок, и, вставая, сказал Емельяну:

— Ну, что ж, идем на соль!

— Так... иди! А ты сладишь? — вопросительно протянул он, не глядя на меня.

— Там увидим.

— Так, значит, идем? — не шевеля ни одним членом, повторил Емельян.

— Ну, конечно!

— Ага! Что ж, это дело... пойдем! А эта проклятая Одесса, — пусть ее черти проглотят! — останется тут, где она и есть. Портовый город! Чтоб те провалиться сквозь землю!

— Ладно, вставай и пойдем; руганью не поможешь.

— Куда пойдем? Это на соль-то?.. Так... Только видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет, хотя мы и пойдем.

— Да ведь ты же говорил, что нужно туда итти.

— Это верно я говорил. Что я говорил, так говорил; уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку, это тоже верно.

— Да почему?

— Почему? А ты думаешь, что там нас дожидаются, дескать, пожалуйте, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши гроши!.. Ну нет, так-то не бывает! Дело стоит вот как: теперь ты и я полные хозяева наших шкур.

— Ну ладно, будет! Пойдем!

— Погоди! Должны мы пойти к господину заведывающему этой самой солью и сказать ему со всем нашим почтением: милостивый господин, многоуважаемый кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию оные наши шкуры, не благоугодно ли вам будет содрать их за 60 коп. в суточки! И тогда последует...

— Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод — накормят ужином, может быть.

— Ужином? Это справедливо. Они накормят; рыбачки народ хороший. Пойдем, пойдем... Но уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому незадача нам с тобою всю неделю, да и все тут.

Он встал, весь мокрый, потянулся и засунул руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их и поднося к лицу.

— Ничего!.. Четвертый день ищу и все—ничего! Дела, братец ты мой!..

Он помолчал.

— Эх, брат, коли бы теперь тысячу рублей море мне швырнуло — бац! Сейчас открыл бы кабак; тебя в приказчики, сам устроил бы под стойкой постель и прямо из боченка себе в рот трубку провел. Чуть захотелось испить от источника веселия и радости, сейчас я тебе команду: Максим, отверни кран! — и... буль-буль-буль... прямо в горло! Глотай, Емеля! Хорошее дело, бес меня удави! А мужика бы этого, черноземного барина — ух ты!.. грабь... дери шкуру!.. выворачивай наизнанку. Придет опохмелиться — «Емельян Павлыч! дай в долг стаканчик!» — А?.. Что?.. В долг? Не дам в долг! — «Емельян Павлыч, будь милосерд!» Изволь, буду: вези телегу, шкалик дам. Ха-ха-ха! Я бы его, чорта тугопузого, пронзил!

— Ну, что уж так жестоко! Смотри-ка—вон он голодает, мужик-то.

— Как-с? Голодает?.. Хорошо-с! Правильно-с! А я не голодаю? Я, братец ты мой, со дня моего рождения голодаю. А этого в законе не писано. Н-да-с!..

Он замолчал и по привычке полез за кисетом, вынул его, выворотил наизнанку, посмотрел и, зло плюнув, бросил в море.

Волна подхватила грязный мешочек, понесла было его от берега, но, рассмотрев этот дар, негодующе выбросила снова на берег...

— А вот что я тебя спрошу: ежели бы нам навстречу теперь попался человек с деньгами, и большими деньгами, — подчеркнул он, мельком заглянув сбоку под мои очки, — так ты как бы, ради приобретения шкуре твоей всякого аттрибуту... укокошил бы его?

Я вздрогнул.

— Нет, конечно, — отвечал я. — Никто не имеет права покупать своего счастия ценою жизни другого человека.

— Угу! Да... Это в книжках сказано дельно, но только для ради совести, а на самом-то деле тот самый барин, что первый такие слова придумал, кабы ему, значит, туго пришлось, наверняка бы при удобном случае, для сохранности своей, кого-нибудь обездушил. Права! Вот они, права! — у моего носа красовался внушительный жилистый кулак Емельяна.

— И всяк человек только разным способом всегда этим правом и руководствуется. Права тоже!..

Я молчал, зная по опыту, что возражать ему, когда он зол, бесполезно...

У АМЕРИКАНСКОГО СУДЬИ.

(Джэк Лондон—«ДОРОГА».)

В город Ниагару я приехал в спальном вагоне с боковыми дверями, или, выражаясь проще, в товарном вагоне...

Город еще спал, когда я вошел в него. Я спокойно шел по улице, когда навстречу мне показалось три каких-то субъекта. Они шли все в ряд, и я решил, что это хобо (бродяги), поднявшиеся, подобно мне, спозаранку. Мое предположение оказалось, однако, не совсем правильным. Я угадал только на шестьдесят шесть с третью процентов. Двое, шедшие по бокам, были, действительно, хобо; но тот, который шел посредине, увы! не был. Я отошел к краю тротуара, чтобы пропустить это трио мимо себя, но он мимо не прошел. Шедший в центре что-то сказал, все трое остановились, и центр обратился ко мне с несколькими словами. Я моментально понял, в чем дело. Это был переодетый полицейский с двумя арестованными... Наш разговор был весьма краток.

— Вы в какой гостинице стоите? — спросил он.

Погиб! Я не только не остановился в гостинице, но даже по названию не знал ни одной из них и потому не мог даже соврать. Было слишком рано, и я не мог даже сказать, что отправляюсь на работу...

— Я только что приехал, — отвечал я.

— Поворачивайтесь и идите впереди нас, но только не особенно далеко от нас. Кто-то желает поговорить с вами.

Меня «зацепили». Я знал, кто желает поговорить со мною. Я повернулся и пошел впереди этого трио прямо в тюрьму. Там нас обыскали и записали наши имена. Я уже не помню, под каким именем меня записали. Я назвался Джеком Дрэком, но в кармане у меня нашли письма,

адресованные Джеку Лондону. Пришлось изворачиваться, и теперь я уже не помню, что я говорил...

Когда нас, наконец, набралось шестнадцать человек, то нас повели наверх, где заседал полицейский судья. Теперь я самым точным и добросовестным образом опишу, что там произошло, так как в это утро все мои гражданские чувства получили такой удар, от которого я никогда не мог вполне оправиться. В камере суда находился сам судья, два пристава и шестнадцать человек хобо. Судья же, кажется, исполнял и обязанности письмоводителя. Свидетелей не было. В камере не было ни одного гражданина города Ниагары, чтобы посмотреть, каково правосудие в их городе. Судья, заглянув в лежащий перед ним список очередных «дел», называл чье-нибудь имя. Поднимался хобо. Судья вопросительно взглядывал на пристава. Тот говорил: «Бродяжничество, ваша честь».— Тридцать дней», — говорила его честь. Хобо садился; судья называл другое имя, и другой хобо поднимался со скамьи... Так и продолжалось дальше, точно и правильно, как машинная работа: на каждого хобо приходилось по пятнадцати секунд и по тридцати дней.... Во время этого представления его честь вдруг вздумала дать одному из нас возможность говорить. Случайно оказалось, что именно этот подсудимый не является настоящим хобо. У него не было отличительных особенностей профессионального трампа... Ему было, вероятно, лет около сорока пяти. Он держался несколько сутуло, и у него было загорелое от солнца и непогоды лицо. По его словам, он в течение многих лет служил в ломовых извозчиках у какой-то нью-иоркской фирмы. Дела этой фирмы пошли плохо и, наконец, во время промышленного кризиса 1893 года она закрылась. Его держали до конца, хотя работы было уже мало. Он подробно рассказывал о том, как ему трудно было достать работу в разгар безработицы. В конце концов, он решил переехать в другой город. Понятно, что денег у него не было, и пришлось ехать в товарном поезде. При этом он был арестован. Вот и все.

«Тридцать дней», — провозгласила его честь, и затем вызвала следующего хобо... Когда все было кончено и каждый из нас получил свои тридцать дней, его честь, перед тем как закрыть заседание, вдруг обратилась к тому извозчику, которому позволила привести кое-какие объяснения.

— Почему вы бросили работу? — спросила его честь. Но извозчик уже раньше рассказывал, что не он бросил работу, а работа бросила его, и в первое мгновение даже опешил от изумления.

— Ваша честь, мне кажется, что это довольно странный вопрос, — сказал он, смутившись.

— Еще тридцать дней за то, что вы бросили работу, — сказала его честь, закрывая заседание...

VI

КАПИТАЛИЗМ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ЗАВОЕВАНИЯ КАПИТАЛА В ДЕРЕВНЕ.

(К. Каутский—«АГРАРНЫЙ ВОПРОС».)

Рассматривая современное сельское хозяйство, мы обнаруживаем два основных факта: частную собственность на землю и товарный характер сельскохозяйственных продуктов... Первым шагом к этому было вытеснение крестьянского ремесла главным образом городской промышленностью и торговлей.

Внутри крестьянской семьи было возможно только незначительное разделение труда, которое не шло дальше разделения труда между мужчиной и женщиной. Неудивительно, что городская промышленность скоро обогнала крестьянское ремесло и стала производить для крестьян утварь и орудия, которые крестьянин мог изготовлять далеко не столь совершенным образом, а часто даже и вовсе не в состоянии был делать. Но развитие промышленности и торговли породило и в городах новые потребности, которые подобно новым улучшенным орудиям проникали в деревню тем быстрее и неудержимее, чем оживленнее становились сношения между городом и деревней;— крестьянская промышленность не могла удовлетворить этих потребностей. Суконное платье заменило холщевые куртки и овчинные полушубки, лапти были вытеснены кожаной обувью и т. д.

Чем далее подвигается этот процесс, тем более разлагается первобытная крестьянская домашняя промышленность, тем сильнее испытывает крестьянин нужду в деньгах, ему нужны теперь деньги не только для покупки предметов не первой необходимости или даже роскоши, но и для покупки необходимого, без чего он не может обойтись. Без денег он не может более вести свое хозяйство, не может более существовать...

Единственный способ, которым он мог добывать деньги, состоял в том, чтобы превращать свои продукты в товар, выносить их на рынок и продавать там. Само собой разумеется, что продуктами, на которые он скорее всего находил покупателей, были не произведения его отсталой промышленности, а те продукты, которых не производила городская индустрия.

Крестьянин попал теперь в зависимость от рынка, который оказался еще более капризным и неверным, чем погода...

Средневековый способ производства был прекрасно приспособлен к потребностям товарищества равных, которые все вели одинаковый образ жизни и производили для собственного потребления. Тогда было удобно иметь общинное поле с его неизменным чередованием ярового хлеба, озими и пара. Но вот возник рынок с его изменчивыми потребностями; между членами общины развилось неравенство, так что одни из них едва получали с своей земли столько, сколько им самим было необходимо, тогда как другие производили излишек. Одни, более бедные, попрежнему производили только для собственного потребления; они крепко держались за общину. Для других она стала оковами, потому что, чего бы ни требовал рынок, они не могли производить на своих участках ничего иного, кроме предписанного общинными порядками.

Совершенно так же развивались противоречия интересов в отношении остатков общего пастбища—стало необходимым установить полную частную собственность, разделить общий выгон, упразднить общественное поле и принудительный севооборот, устранить чересполосицу разбросанных в разных местах участков пашни, соединить их и таким образом сделать землевладельца полным собственником своей земли, представляющей одно сплошное поле, на котором он мог бы вести хозяйство, сообразуясь исключительно с требованиями конкуренции и рынка.

Для того, чтобы поднять сельское хозяйство с той ступени, на которой оно стояло в феодальное время, до его современной высоты и подчинить его безостановочно совершающемуся техническому и экономическому прогрессу, для этого нужны были и нужны теперь деньги, большие деньги. Это не требует ни доказательств, ни иллюстраций. Достаточно заметить, что в Англии только на дренаж [1]) было израсходовано с 1835 по 1842 г. свыше 100 миллионов, с 1846 по 1855 г. свыше 50 миллионов марок [2]). На эти 50 миллионов было дренировано 1.365.000 акров, но нуждались в дренаже еще 21.525.000 акров.

Современное сельскохозяйственное предприятие невозможно вести без денег или — что то же самое — без капитала, потому что при современном способе производства каждая сумма денег, не предназначенная для целей личного потребления, может превратиться и обыкновенно превращается в капитал, в стоимость, приносящую прибавочную стоимость...

Чем более капиталистический характер приобретает сельское хозяйство, тем более развивает оно качественную разницу техники между крупным и мелким производством...

Разница между крупным и мелким производством прежде всего должна была обнаружиться в доме, дворе, в домашнем хозяйстве, которое для крупного производства приобрело особое значение с тех пор, как оно стало производить собственным скотом, собственными орудиями производства и собственными наемными рабочими...

Едва ли требует доказательств положение, что крупное домашнее хозяйство превосходит мелкое в сбережении рабочей силы и материала. Сравнивая крупное имение, которое занимает столько же земли, сколько 50 мелких крестьянских хозяйств, мы здесь находим одну кухню с одним очагом, там 50 кухонь и 50 очагов. Здесь, пожалуй, нужно 5 кухарок, там 50. Здесь зимой отапливается 5 жилых помещений, горят 5 ламп, там 50. Здесь керосин, цикорий, маргарин покупаются оптом, там в розницу и т. д.

Если мы из дома перейдем во двор, то в крупном хозяйстве находим один хлев на 50—100 коров, в мелком 50 хлевов, каждый для одной-двух коров; в первом находим один амбар, один колодец вместо 50. Дальше мы находим соответственно меньше дорог от дворов к полям,—полевые железные дороги вообще недоступны для крестьян,—меньше плетней и заборов, меньше меж.

Чем меньше участок земли, тем длиннее его границы по отношению к его поверхности... Чем длиннее границы участка, тем больше потеря семян, которые при ручном посеве неизбежно попадают за межу, тем больше затрата труда при обработке участка...

50 крестьянских дворов нуждаются также в 50 плугах, 50 боронах, 50 телегах и т. д., в то время, как для крупного хозяйства требуется в 10 раз меньшее количество...

---

[1]) Дренаж—осушение почвы при помощи подземных труб.

[2]) Германская марка = 100 пфеннигам = приблизительно 46 коп. по до-военному курсу.

Несмотря на экономию в инвентаре, при одинаковом способе производства, затраты на инвентарь в крупном производстве могут быть не только абсолютно, но и относительно выше, так как способ производства в нем не остается неизменным. Целый ряд орудий производства, в особенности машины, могут применяться с успехом только в крупном производстве. Крестьянин их надлежащим образом использовать не может...

Электрическая сила может также с успехом быть применена только в крупных хозяйствах...

Кроме молотилок, в мелком производстве едва заметно применение машин.

Точно так же, как с орудиями, инструментами и машинами, обстоит дело и с человеческой, животной и другими силами, дающими первым движение и направление.

Для получения одного и того же результата мелкому хозяйству нужно применить эти силы в большем количестве, чем хозяйству крупному; кроме того, они не могут так полно использовать и усилить их производительность...

Это значит, что крупные хозяйства сумели использовать преимущества разделения труда в гораздо больших размерах, чем мелкие. Они одни только могут провести в полной мере ту специализацию и то приспособление орудий и инструментов к отдельным операциям, которыми современное хозяйство так превосходит до-капиталистическое...

Наконец ему доступны выгоды кооперации, планомерного сотрудничества многих для достижения определенного результата...

Ко всем этим преимуществам крупного хозяйства в области производства присоединяются еще преимущества в области кредита и торговли.

Ни в одной области превосходство крупного производства над мелким не оказывается большим, чем в торговле. «Счет крупных чисел занимает не больше времени, чем счет мелких. 10 покупок по 100 фунтов стерлингов требуют в 10 раз больше времени, чем одна покупка в 1000 ф. ст... В торговле гораздо чаще, чем в промышленности, одна и та же функция— исполнена ли она в малых или в больших размерах — требует одинаковой затраты рабочего времени». (Маркс. «Капитал», III. 1. 279.)

Издержки транспорта, в особенности по железной дороге, также уменьшаются для больших масс товара. Кто закупает оптом, приобретает товар дешевле и лучшего качества, чем при покупке в розницу; кто оптом продает, может при одинаковой, и даже большей пользе, продавать дешевле, выдерживать конкуренцию...

Чем больше сельскохозяйственное производство становилось товарным, тем менее оно могло оставаться на первобытной ступени непосредственной продажи товара производителем потребителю... Между потребителем и производителем становится торговец; он много лучше последнего следит за рынком, он до некоторой степени управляет им и пользуется этим для эксплоатации крестьянина.

К торговцу хлебом и скотом вскоре присоединяется ростовщик; часто впрочем это одно и то же лицо...

Тут мы наталкиваемся еще на один пункт, в котором крупное хозяйство выше мелкого, это — кредит...

Крупный сельский хозяин продает свои продукты прямо на большом рынке, с которым он находится в постоянной связи, и поэтому он находит кредит в экономических центрах, в которых большими массами скопляется ссужаемый капитал, ищущий приложения, так же легко, как купец, или промышленник, если он только исправный хозяин...

Крестьянину при его изолированности с небольшим количеством продуктов для продажи большой рынок недоступен... Является у него нужда

в деньгах — ему приходится обращаться к ближайшему сельскому капиталисту, и здесь у него нет большого выбора, так как в деревне их немного...

Капиталистическое развитие гонит как крестьян, так и крупных землевладельцев к задолженности, но благодаря мелкому хозяйству не избавляет первых в такой мере, как вторых, от несовместимых с нуждами крупного производства форм средневекового ростовщичества...

Так приходит конец благосостоянию, независимости, обеспеченности свободного крестьянина там, где исчезает его домашняя промышленность для собственного потребления и где на него взваливается бремя денежных повинностей...

Один и тот же процесс, создавая, с одной стороны, потребность в наемных рабочих, с другой способствует их появлению. Он пролетаризирует некоторых крестьян, он сокращает крестьянскую землю и выбрасывает на рабочий рынок крестьянских сыновей и дочерей, ставших для нее лишними... Наконец, у более мелких крестьян он вызывает потребность в подсобных промыслах вне собственного хозяйства. У них слишком мало земли, чтоб производить излишек, который оставался бы после покрытия потребностей их семьи; у них нет сельскохозяйственных продуктов для продажи на рынке. Единственный товар, который они могут продавать,— это их рабочая сила, только время от времени всецело отдаваемая собственному хозяйству. Одним из средств превратить ее в деньги является работа по найму у более крупных сельских хозяев...

Место прежнего крестьянского семейного товарищества, хозяйничавшего на своем участке исключительно собственными силами, занимает в более крупных крестьянских хозяйствах группа наемных рабочих, которые под наблюдением землевладельца обрабатывают его поля, пасут его скот, собирают его жатву.

Классовая противоположность между эксплоататором и эксплоатируемым, между имущим и пролетарием, проникает в деревню, даже в самую семью крестьянина и разрушает старую гармонию и общность интересов...

ТОРГОВОЕ СЕЛО В НАЧАЛЕ XIX В.

(М. Е. Салтыков-Щедрин — «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА».)

В самом начале тридцатых годов матушка успела приобрести значительное имение, верстах в сорока от Малиновца и всего в пяти верстах от Уголка. Это было большое торговое село Заболотье, заключавшее в себе с деревнями более трех тысяч душ. Принадлежало оно троим владельцам, и часть одного из них, около тысячи двухсот душ, продавалась в опекунском совете с аукциона. Прослышав о предстоящей продаже, матушка решила рискнуть своим небольшим приданым капиталом и поехала в Москву. Успех превзошел самые смелые ожидания. На аукцион никто не явился, кроме подставного лица, и имение осталось за матушкой, с «переводом долга» и с самой небольшой приплатой из приданых денег.

Имение было малоземельное, но оброк с крестьян получался исправно. А по тогдашнему времени это только и было нужно. Операция была настолько выгодна, что сразу дала матушке лишних пятнадцать тысяч чистого годового дохода, не считая уплаты процентов и погашения. Сверх того летом из Заболотья наряжалась в Малиновец так называемая помочь, которая в три-четыре дня оканчивала почти все жнитво и значительную часть сенокоса. Вследствие этого и Малиновец начал давать все более и более серьезный доход. Благосостоянию семьи было положено прочное основание...

В селе было до десяти улиц, носивших особые наименования; посредине раскинулась торговая площадь, обставленная торговыми помещениями, но в особенности село гордилось своими двумя обширными церквами, из которых одна, с пятисотпудовым колоколом, стояла на площади, а другая, осенявшая сельское кладбище, была выстроена несколько поодаль от села. Не меньшую гордость крестьян составляло и несколько каменных домов, выделявшихся по местам из ряда обыкновенных изб, большей частью ветхих и черных. Это были жилища богатеев, которые все село держали в своих руках...

Некоторые из них делали обороты на десятки тысяч, а иные даже имели лавки в Москве. Но большинство крестьян было бедное, существовало впроголодь, ютилось в ветхих, еле живых плетушках, и всецело находилось под пятой у богатеев. Однако ж, даже самая, что называется, гольтепа вытягивалась в струнку, чтобы форснуть, и пуще глаза хранила синие кафтаны для мужчин и штофные телогреи для женщин. В праздник трудно было даже отличить богатого от бедного.

Главным занятием сельчан был трактирный промысел. Большинство молодых людей, почти с отроческих лет покидало родной кров и нанималось в услужение по трактирам в городах, и преимущественно в Москве.

Нередко случалось мне впоследствии: зайдешь в какой-нибудь из московских трактиров, и непременно услышишь:

— Никанор Васильевич, с приездом-с! пожалуйте ручку!

Оказывалось, что говорил заболотовский крестьянин, видевший меня еще ребенком и каким-то родом опознавший и теперь.

В побывку домой приходили отчасти летом в сенокос, отчасти в рождественский мясоед, когда играются свадьбы. Дома оставались только старики да женский пол. Трактирная сутолока изнуряла и развращала молодых людей. Редко можно было встретить между ними красивых и сильных; большинство было испитое, слабосильное, худосочное. В особенности поражали испорченные зубы («от чаев, да от сахаров, да от трубочек»,—говорили старики), так что это нередко даже служило препятствием при отправлении рекрутской повинности. Но промысел установился так прочно, что поправить дело не было возможности. Иначе остановились бы оброки.

То же самое происходило и в деревнях, но в меньших размерах. Все-таки там молодежь была посерее и посолиднее и не уходила поголовно вразброд, а старики даже любили землю; кроме своей, кортомили [1]) у сельчан их земельные участки и усердно работали. Там и народ был рослее, не так тщедушен. Но деревни были у села в загоне; в площадных доходах, например, не принимали участия; деревенские крестьяне почти никогда не выбирались в вотчинные должности, и даже в церкви, по праздникам, стояли позади, оттесняемые щеголеватым сельским людом ...

РАЗУВАЕВ.

(М. Е. Салтыков-Щедрин — «УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО».)

Разуваев жил от меня верстах в пяти, снимал рощи и отправлял в город барки с дровами. Сверх того, он занимался и другими операциями, объектом которых обыкновенно служил мужик. И он был веселый, и жена у него была веселая. Дом их, небольшой и невзрачный, стоял у лесной опушки, так что из окон никакого другого вида не было, кроме громад-

[1]) Кортомили—арендовали.

ного пространства, сплошь усеянного пнями. Но хозяева были гостеприимные, и пированье шло в этом домишке великое.

Ко времени, о котором идет речь, доходил срок арендуемым Разуваевым рощам. И вот он начал задумываться. Капитал свободный есть, торговые связи тоже заведены, а главное, место насижено и облюбовано. Едет он по селу улицей — все шапки снимают; приедет в церковь к обедне — станет с супругой впереди у клироса, подтягивает дьячку и любуется на пожертвованное им паникадило; после обедни подойдет к кресту первым после Грацианова и получит от батюшки заздравную просвиру. Всем с ним повадно, всем по себе, потому что он на все руки: и выпить не дурак, и пошутить охоч, и сплясать может. Поставит на голову стакан с пивом и спляшет. Батюшка сколько раз мне говорил: «вот у Разуваева икру подают — белужью, настоящую! А однажды из города копченую стерлядь привез — даже и до часа сего забыть не могу!» А матушка, вздохнув, прибавляла: «по здешнему месту, только и полакомиться, что у Разуваевых!» Даже так называемая чернядь — и та как полоумная сбегалась со всех сторон, когда на село приезжал Разуваев. Потому что он вдруг, того и гляди, велит песни петь и начнет в народ гривенники на драку бросать!

Одним словом, всеми он был любим, для всех желателен. Мужик он был не то, чтобы молодой, но в поре, статный, широкоплечий, лицо имел русское, круглое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, светло-русую. И жена у него была такая же, русская: круглолицая, белотелая, полногрудая, румяная, с веселыми, слегка бесстыжими глазами на выкате. Охотники были оба песни попеть и пели мастерски, особенно хоровые, подблюдные.

Давно уже до меня доходили слухи, что Разуваев ищет купить себе усадьбу, но только чтобы непременно за грош. Думал было он сначала на порожнем участке новый дом взбороздить, но рассчитал, что за грош нового заведения никак устроить нельзя. Да поди еще жди, когда еще оно в настоящий вид придет, а до тех пор торчи на тычке, жарься летом на припеке, а зимой слушай, как ветер воет. Начнешь парки разводить, сады сажать — смотришь, ан из десяти дерев одно принялось, а прочие посохли. Хорошо было этими парками тогда заниматься, когда крепостные были. Тогда ни одно дерево не пропадало, а шло все в высь и в ширь, словно по щучьему веленью. Тогда-то и было положено начало всем паркам и садам, которые мы видим, а теперь не до парков. Так вот этакую бы готовую старинную усадьбу подыскать, чтобы и парки при ней были, и пруды бы в парках, и караси бы в прудах водились, и плодовый сад чтобы тут же находился, а в бочку бы харчевенку с продажей распивочно и на вынос поставить. Да за грош бы, непременно за грош.

Сколько тут пота мужичьего пролилось, сколько бабьих слез эти парки видели — Разуваев об этом не хочет и знать. До сих пор старики поминают: «вон в этом месте трясина была, так мы мешками землю таскали — смотри, каку горушу взбодрили!» — но Разуваеву и до этого дела нет. Он знает только, что современному помещику все это не к рукам, да и сам помещик, по нынешнему времени, тут не ко двору. Помещик — он человек неверный, а нужны люди постоянные, вероятные, то-есть либо кабатчики, либо оголтелые мужики. А сверх того, Разуваев имеет простодушно-наглое убеждение, что стоит только помахать у помещика под носом ассигнацией, чтоб он сейчас же, от одного ассигнационного запаха, впал в изнеможение...

В одно прекрасное утро, взглянув в окно, обращенное в парк, я увидел, что в одной из расчищенных для моих прогулок аллей ходят двое мужчин,

посматривают кругом хозяйским глазом, меряют шагами пространство и даже деревья пересчитывают. Вглядевшись пристальнее, я узнал в посетителях Разуваева и Грацианова...

— Торгуете?

— И нынче дела нельзя похулить, надо правду сказать. Народ нынче очень уж оплошал, так, значит, только случая опускать не следует.

— Частенько-таки я в последнее время такие слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народ оплошал, да еще вы случаев упускать не будете—ведь этак он, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надеетесь?

— Ах, ваше скородие, йен доста-а-нет.

Он сказал это с такой невозмутимой уверенностью, что мне невольно пришло на мысль: что же такое однако ж нам в детстве твердили о курице, несшей золотые яйца? Как известно, владелец этой курицы, наскучив получать по одному яйцу в день и желая зараз воспользоваться всеми будущими яйцами, зарезал курицу и, разумеется, не только обманулся в своих мечтаниях, но утратил и прежний скромный доход. Легенда эта (в смысле результата) всегда казалась мне достойною вероятия, и я вполне искренно думал, что человек, зарезавший драгоценную курицу, был глупый человек и совершенно правильно за свою глупость пострадал.

И вот теперь Разуваев объявляет прямо, что все это вздор. Судя по его словам, курица не перестает нести золотые яйца, даже если она съедена. Это какая-то вечная, дважды-волшебная курица, которую ничто неймет, ничто доканать не может. Это—курица-миф, курица-бессмыслица, но в то же время курица, подлинное существование которой может подтвердить такой несомненный эксперт куриных дел, как Разуваев. И мне кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оценивают этот факт, ибо в противном случае они не разглагольствовали бы ни о сокровищах, в недрах земли скрывающихся, ни о сокровищах, издаваемых экспедицией заготовления бумаг, а просто-напросто объявили бы: ежели в одном кармане пусто, в другом ничего, то распори курице брюхо, выпотроши, свари, съешь, и пускай она продолжает нести золотые яйца попрежнему. И она будет нестись—в этом порукою Разуваев.

СЫНОК.

(Стих. Демьяна Бедного.)

Помещик прогорел, не свесть конца с концом,
Так роща у него взята с торгов купцом.
Читателям из тех, что позлословить рады,
Я сам скажу: купчина груб,
И рощу он купил совсем не для прохлады,
А—дело ясное—на сруб.
Все это так, чего уж проще,
Однако ж наш купец, бродя с сынком по роще,
Был опьянен ее красой.
Забыл сказать—то было вешним утром,
Когда обрызгана душистою росой,
Сверкала роща перламутром.
— «Не роща—божья благодать!
Поди ж ты! Целый рай купил за грош на торге.

«Уж рощу я срублю», — орет купец в восторге: —
«Не раньше осени, как станет увядать!»
Но тут мечты отца нарушил сын-мальчонок:
— «Ай, тятенька, гляди: раздавленный галчонок!»
— «И впрямь... Ребята, знать, повадились сюда.
Нет хуже гибели для птиц, чем в эту пору,
Да ты пошто ревешь? Какая те беда?»
— «Ой, тятенька! Никак, ни одного гнезда
Мне не осталось... для разору!»

МЕЛКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО.

(К. Маркс — «18 БРЮМЕРА».)

Мелкое крестьянство образует огромную массу, члены которой живут все в одинаковом положении, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу. Их способ производства изолирует их друг от друга, не давая места взаимному общению. Этому изолированию способствуют еще дурные пути сообщения во Франции и бедность крестьян. Их сфера производства, земельный участок, не дает места разделению труда, применению науки, не позволяет проявиться в общественных отношениях сложности развития, разнообразию талантов, богатству. Каждая отдельная крестьянская семья довольствуется сама собой, производит непосредственно большую часть того, что она потребляет, и приобретает средства к жизни скорее путем обмена с природой, чем с обществом. Участок, крестьянин и семья; рядом другой участок, другой крестьянин с семьей. Сотня семейств образует деревню; сотня деревень образует департамент. Так составляется огромная масса французского народа посредством простого сложения одинаковых величин, как мешок с картофелем состоит из отдельных картофелин. Поскольку миллионы таких семейств живут в экономических условиях, которые отделяют их образ жизни, их интересы и их образование от других классов и ставят их во враждебное отношение к последним, постольку они образуют класс. Но, поскольку между мелкими крестьянами существует лишь местная связь, поскольку одинаковость их интересов не порождает никакой общности национальной связи, политической организации между ними, постольку они не образуют класса. Они даже не способны отстаивать свои классовые интересы в собственном смысле слова в парламенте или в собрании. Они не могут сами представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен быть вместе с тем их господином, авторитетом для них, неограниченной правительственной властью, которая охраняет их перед другими классами и посылает им сверху дождь и сияние солнца...

НА КЛОЧКАХ ЗЕМЛИ.

(Э. Золя — «ТРУД».)

Буажлэн, подпрефект [1]), чета Делаво, Гурье и Люк направились тихими шагами к ферме, под высокими деревьями парка...

Буажлэн рассыпался в сожалениях о бедствиях землепашества: земля все падала, всем земледельцам грозило скорое разорение. Шатлар и Гурье согласились, что ужасный, неразрешимый вопрос состоял до сих пор в том,

[1]) Подпрефект — должностное лицо во Франции.

что для успеха производства необходимо, чтоб хлеб был дешев, а когда цены на зерно низки, то разоренный крестьянин не покупает никаких произведений промышленности. Делаво полагал, что можно найти решение в разумном протекционизме [1]). Люк, страстно относившийся к этому вопросу, подогревал разговор, заставляя особенно высказываться Буажлэна, который в конце концов признался, что его недовольство главным образом происходит от постоянных затруднений с его фермером, Фэлья, требования которого год от году возрастают все более. Ему, вероятно, придется расстаться с ним, когда кончится срок аренды, потому что фермер просил уменьшения аренды на десять процентов; но всего хуже было то, что из боязни, что ему не возобновят контракта, он перестал заботиться о земле и удобрять ее, говоря, что не желает работать на пользу своего преемника,—а это ведет к истощению, так сказать, к умиранию земли.

— И так всюду,—продолжал Буажлэн,—работники желают стать на место владельцев, а страдает от этого земля. Вот, например, в Комбетте, в этой деревне, земли которой отделяются от моих только дорогой в Формери,—вы не можете себе представить, как там мало согласия, каждый крестьянин старается вредить своему соседу, нанося в то же время ущерб самому себе. О, феодализм имел свои хорошие стороны, из всех этих ребят вышел бы прок, если б у них ничего своего не было и они знали бы, что никогда ничего своего у них и не будет.

Это неожиданное заключение заставило Люка улыбнуться...

По выходе из парка его взорам открылась огромная равнина той самой Руманьи, которая прежде была так плодородна и которую теперь обвиняли в том, что она стала сурова и отказывалась кормить свой народ. Слева находились обширные владения фермы, а справа бедные крыши деревни Комбетт, вокруг которой пестрели необыкновенно мелкие участки полей и угодий, клочки земли до-нельзя дробленные дележами по наследствам, так что вся местность походила на одеяло, сшитое из клочков и лоскутьев...

Как раз когда все общество подходило к ферме, большому и довольно хорошо содержанному зданию, раздались ругань и стук кулаков по столу, весь шум сильной ссоры.

Вслед затем из фермы вышло двое крестьян, один тяжелый и толстый, другой худой и злобный; погрозив в последний раз друг другу кулаками, они разошлись по различным дорогам, которые обе вели в Комбетт.

— Что такое случилось, Фэлья?—спросил Буажлэн у фермера, стоявшего на пороге.

— Ничего, сударь... Опять двое крестьян из Комбетт поспорили из-за межи и просили меня рассудить их. Вот уж много лет из поколения в поколение Ланфаны и Ивоно постоянно ссорятся до того, что приходят в ярость, как только завидят друг друга. Сколько я их ни уговариваю, вы сами слышали, как они постоянно грызутся...

Все общество кончило тем, что на минутку вошло посидеть на ферму. Люк встретил здесь те же холодные и голые стены, ту же атмосферу труда и бедности. Сухая и серая, как и ее муж, но безгласная и покорная фермерша находилась в комнате вместе с своим единственным сыном Леоном, большим двенадцатилетним мальчиком, уже помогавшим своему отцу. Всюду, как у крестьянина, так и у рабочего, проклятый опозоренный труд не был в состоянии прокормить даже раба, прикованного к своему

---

[1]) Протекционизм—система мер, направленных к покровительству той или иной отрасли народного хозяйства.

ручному ремеслу, как к какой-нибудь цепи. В соседней деревне Комбетт страдания, без сомнения, были еще тяжелее: развалившиеся дома, скотская голодная жизнь...

Уходя с фермы, Буажлэн сказал Фэлья:

— Так подумайте: цены на землю повысились, справедливо, чтоб я этим воспользовался.

— Ох, я уж все обдумал, сударь,— ответил фермер.— Все равно, где умирать с голоду,—на большой дороге или у вас...

В БАТРАКИ.

(И. Вольнов — «ПОВЕСТЬ О ДНЯХ МОЕЙ ЖИЗНИ».)

В марте месяце, перед жаворонками, приехал к нам Созонт Максимович Шавров, скотопромышленник и богатый человек из Мокрых Выселок.

— Хозяин дома? — постучал он в двери.

— Дома, дома, — отозвались наши. — Заходите — гостем будете.

В избу вошел коренастый мужик среднего роста, широкоплечий, с небольшой лысиной, краснобородый.

Отец, как ужаленный, соскочил с голобца [1]), оправил рубаху и, моргнув сестре, поздоровался с ним за руку. Мать поспешно сдернула столешник со стола, немытые ложки и солоницу, вытерла тряпицей лавку, говоря умильно:

— Присядь покуда что, присядь, миленочек...

Гость сказал отцу:

— Я насчет должку, Лаврентьевич... Чисто смерть — расходы одолели, подати, страховка, жеребца, вот, купил... ты уж как-нибудь похлопочи, пожалуйста, я в случае чего — опять ссужу...

Отец, глядя в окно на серую, в яблоках, лошадь, запряженную в легкие козыри, проговорил, вздыхая:

— Лошадка—важная... Что твой князь теперь ты ездишь, Созонт Максимович.

Глаза гостя заблестели удовольствием, но сейчас спрятались под густыми бровями, и он сокрушенно ответил, оправляя бороду:

— Куда уж нам... Намедни князь-то—с колокольчиком и кучер в перьях... Не угнаться нам за ним, за князем-то...

Созонт Максимович — приблудный сын Максы Шаврова. У него — ветряная мельница, лавка, маслобойня, крупорушка [2]) и денег несметное количество. Половина Осташкова, Зазубрино, окрестные деревни — и своя — Мокрые Выселки — должники его... Макса теперь без ног, а с виду — желт и лыс, как чахлый гриб, домом управляет старший сын его Созонт, вместе с братом Федором, вдовцом, тоже приблудным. Они дают деньги в рост, торгуют шерстью, льном и маслом, имеют много земли и скотины, вообще, народ очень хозяйственный, первый в нашей волости. На вид Шаврову 45 — 47 лет, а на самом деле много больше. Он — сыт, румян и богомолен, говорит тихим, ласковым голосом, любит пошутить с девками, посмеяться и побалагурить или, как он говорит, «поточить балясины»...

---

[1]) Голобец—припечье со ступеньками для всхода на печь и на полати.

[2]) Крупорушка—мельница для выделки крупы.

Созонт Максимович безграмотен, но должников отлично знает, хозяйство и лавку ведет дай бог всякому, никогда ни в чем не ошибается и сроки платежей не пропускает.

— Нынче к шестому тебе, а деньжат собрал пять красных, ну-ко-ся подумай! — говорит он ласково отцу. — С тебя там что приходится?..

— Четыре пятишницы,—кряхтит отец.

— И то никак четыре,—жмурится Шавров.—Четыре, да... Пенечку не измял еще?..

Шавров зевает, крестя рот. Ему надо узнать, цела ли у нас пенька, которая обещана за долг, а отец продал ее, не мявши, еще осенью, и отвиливает. Созонт чует это, но—играет.

— По знакомству, я тебе копеечку на пуд надбавлю против базара,—а?

— Оно коне-ешно! — говорит отец и бежит в чулан.

— У нас от праздника селедочка осталась, — ухмыляется он, — мы съедим ее за чаем-то, а то еще протухнет, грешная,—и вопросительно глядит на лицо Шаврова.

— Мо-ожно,—тянет гость,—отчего-о нельзя? С нее чаю выпьешь больше...—Обернувшись к вошедшей матери, он говорит:—Мы тут с мужиком твоим насчет пенечки толковали... Благодать у вас, Ондреевна, мочить ее в реке... Вон у Ведмедевских в копани-то [1])—желтая, кургузая, как жулик, а у вас на подбор—волокно к волокну...

Мать, поставив на скамейку ногу, подвязывает оборвавшуюся лапотную веревку.

— Кабы достатки,—говорит она, вытирая большим пальцем нос,—весной бы рубля по три шла, то по два с четью ухайдакали.

Отец лезет под лавку за бруском—ножик поточить, а Шавров вздыхает.

— Ишь ты—уж прода-али?.. Знамо дело—весна цену надбавляет... Жалко, что поторопились, очень жалко...

— Разве с ними сговоришь?—кричит отец, сидя на корточках.—Прода-ай, старик! прода-ай, старик!.. Вороны!.. Я им: погодите, бабы, вот Созонт Максимович приедет—разговор у нас с ним был, а они, дубье: по-одати, Христово Рождество-о!.. Черти драные!..

Мать удивленно смотрит на отца, будто собираясь сказать: что ж ты брешешь, старый дьявол?—но молчит; сестра моет чашки, я играю с дымчатым котенком Фролкой.

— Значит, та-ак,—гладит бороду Шавров,—поторопились малость: я бы много больше дал... Ну, что же делать? сами виноваты... Ишь ты—котенок-то какой веселый!—оборачивается он ко мне.—Поцарапал, поди, руки-то?

— Нет, он легонько,—отвечаю я,—он только приставляется, что хочет укусить... Он—умный...

Созонт Максимович оправляет подпояску, пристально разглядывает меня со всех сторон и, потягиваясь, говорит:

— Слушай-ка, Лаврентьич: у тебя мальчонка-то никак пустопорожний, а? Отдай-ка, братец, в пастушонки, правое слово!.. Денег-то чай в доме мало—самому нужны, а я в цене не обижу...

Отец смотрит на меня и на сестру, которая пыхтит у самовара, стучит пальцами о стол и говорит раздумчиво:

— Денег, Созонушка, если по правде—совсем нету ни гроша.

Оглядев всех нас поочередно, он конфузливо смеется.

— То-то вот и дело,—разводит руками гость.

---

[1]) Копань—яма, вырытая для скопления дождевой воды.

За столом, во время чая, Созонт Максимович еще раз осмотрел меня, велел подняться, потом вымолвил:

— Тринадцать царикоз деньгами, хозяйские лапти, к Троице — новый картуз, служить до Покрова, до белых мух...

Отец вздохнул:

— Уж, видно, тому делу быть.

Распили могарыч, помолились богу, ударили по рукам. Созонт Максимович уехал во-свояси.

А через неделю мать уложила мне в мешок две смены рубах, суконные онучи (портянки), гребешок и шарф, надела новый крест, дала теплые варежки и, благословив, заплакала.

— Слушайся, детенычек, хозяина, не озоруй, — причитала она. — С этаких-то пор — в чужие лю-юди!..

ХОЗЯИН И БАТРАК.

(Стих. Демьяна Бедного.)

Над мужиком, над Еремеем,
В деревне первым богатеем,
Стряслась беда:
Батрак от рук отбился,
Батрак Фома, кем Еремей всегда
Хвалился.
Врага бы лютого так поносить не след,
Как наш Фома Ерему:
— «Людоед!
Чай вдосталь ты с меня повыжал соку, —
Так будет! Больше мне не в мочь
Работать на тебя и день и ночь
Без сроку.
Пусть нет в тебе на грош перед людьми стыда,
Так побоялся б ты хоть бога.
Смотри — ведь праздник у порога,
А у тебя я праздновал когда?
Ты так с работой навалился,
Что в пору б дух лишь перевесть.
За недосугом я, почесть,
Год в церковь не ходил и богу не молился!»
На батрака Ерема обозлился:
— «Пустые все твои слова!
Нанес ты, дурья голова,
Большую гору
Вздору.
Никак, довесть меня ты хочешь до разору?
Какие праздники ты выдумал, Фома?
Бес праздности тобой, видать, качает.
Смекай — коль не сошел еще совсем с ума:
Кто любит праздновать, тот не добром кончает.
Ты чем язвишь меня — я на тебя дивлюсь:
«Год богу не молюсь» —
А не подумал, Каин,
Что за тебя помолится хозяин!»

РАССЛОЕНИЕ ДЕРЕВНИ.

(М. Горький — «ЛЕТО».)

Недостаток наших сил сказывался все яснее: летние работы кончились, по утрам уже раздавалась дробная, веселая музыка цепов, народ, несколько освободившийся от труда, рвал нас во все стороны...

Однажды собрал нам Кузин человек с двадцать народу; сошлись мы в глухом лесном овраге, куда в старину, бывало, ходили охотники стеречь, как папоротник зацветет... Тихо, темно, сыровато и холодно. Тенькают синицы, бьет дятел, шуршит, бегая по стволам, поползень [1]), опадая шелестят листья, и мерно, точно кузнец гвозди, отбивает Досекин острые, холодные слова.

— Не на кого больше опереться начальству, и затеяло оно подкупить некоторых, кто позажиточнее, да и спрятаться за спиной у них от судьбы...

Мужики неподвижны, точно комья земли; головы подняты кверху, невеселые глаза смотрят в лицо Егора, молча двигаются сухие губы, как бы творя неслышно молитву, иные сжались, обняв ноги руками и выгнув спины, человека два-три устало раскинулись на дне иссохшего ручья и смотрят в небо, слушая Егорову речь. Неподвижность и молчание связывают человечьи тела в одну силу с немой землею, в одну груду родящего жизнь вещества. Изредка раздаются негромкие голоса.

— Стряхнуть, значит, нас с земли решено у них!

— Ежели кредиту не дадут, дело это не выйдет!

Высокий худой мужик, сверкая зелеными, как у голодного кота глазами, густо говорит:

— А с кредитом твоим что будет? Забыл про маломочный-то народ? Он те даст кредит!

Кто-то хихикая вставил:

— Нам и кредит вредит!

— Да и где их взять, денег!

— Монастыри оберут!

— Для тебя? Жди!

Егор прерывает свою речь, выслушивая замечания, и снова долбит головы, ища живого мозга.

— Поймите, что выходит: век, значит, плати подать, а некоторым начальство будет подать эту давать в долг, и эти некоторые на наши-то грошики скупят землю, да и обратят всех нас, маломочных, в батраков себе.

Закачались мужики, как лес под ветром.

— Так-ак...

— Стало быть, целую деревню придушить для пятерых?

— Началось это, братцы! — тревожно звенит высокий голос. — Глядите — которые по городам живут, землей не пользуются, они уже наделы-то свои продавать начали!

— Запретить!

— А как?

— Паспорта не выдавать!

— Верно! Пускай оборотятся к нам, да поживут от земли!

— Верно: здесь сказали — всякое увеличение прибытка за чей-нибудь пай!

---

[1]) Поползень — маленькая птичка из воробьиных.

— А конечно! Земля-то кругла, говорят...

И все чаще слышен тревожный вопрос:

— Что будем делать?

Большой, солидный мужик в крепком полушубке встал на ноги, сняв шапку с головы, и степенно говорит:

— Затеяно это всем во вред, православные! Вот я, скажем, имею земли до двадцати десятин и могу купить еще, ничего — могу! Однако — не куплю, потому опасно! Первое — никому неизвестно, что будет, второе — купи-ка я теперь; так вы меня со свету сживете...

Слышен одинокий, сухой смех, и как будто крякнул человек тихонько или заскрипел зубами. Мужичьи тела шевелятся в темноте, сдвигаясь плотнее, трутся друг о друга. И шелестят подавленные голоса.

— Прямо говори, — половину народа сорвет этак-то с земли!

— Некоторые, конечно, всплывут, что говорить, ну, а мир, — мир расколется!

Большой мужик все стоит, опустя голову, и треплет в руках шапку.

Егор громко говорит, прищурив глаза, оглядывая слушателей:

— Слова делам редко верные товарищи. Говорить можно всяко, а втайне здесь каждый думает быть «некоторым».

Замолчали мужики. Только один, невидимый, со смешком пробормотал:

— Всем в «некоторые» не попасть, не-ет!..

На лице Егора тонкая усмешка...

— Это, брат, значит, что пришел деревне конец! Сильному в ней — тесно, слабому — невместно! Настало время разоряться деревне на-двое, и никакими канатами, ни цепями не скрепить ее теперь! Нет, кончено!..

— Что будем делать? — тоскливо спрашивает молодой голос.

— Говори! — шепчет мне Егор.

Говорю. И вся груда человеческих тел молчит, не дышит, жадно слушая новую речь, иногда вдруг пошевелится тяжко, охнет, забормочет и снова замрет...

НОВЫЙ ПОМЕЩИК.

(И. Коновалов — «ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕРЕВНИ»)

«Новыми помещиками» в наших местах называют крестьян, выделившихся из общины и приобревших землю в собственность...

В Кожниковке типичным представителем этой вновь народившейся группы является Карп Федорович Вавилов. Недавно он вышел из общины и приобрел 75 десятин у ликвидировавшего свою землю помещика.

Карп Федорович — мужик умный и сметливый. Инстинктивно он угадывает веяния времени, действует сообразно с ними, а потому почти всегда без промаха. Глубоко сидящие косые глазки его обычно глядят спокойно, но когда он начинает волноваться или «почует добычу», они нервно и беспокойно бегают...

Издавна семья Вавиловых считалась зажиточной. Ежегодно они снимали 10—15 десятин, имели 4 лошади, 3 коровы и десятка три овец. Круглый год содержали работника и работницу; посильную помощь оказывал и довольно крепкий еще старик Федор.

В деревне мне не раз приходилось слышать, что богатыми Вавиловы стали с того времени, как старик Федор «обокрал» мир. Послали его в слободу Елань приторговать землю, а если земля окажется подходящей — дать задаток. Федор купил землю по 25 руб. за десятину, дал задаток, а через неделю перепродал ее по 40 руб. Вернувшись, он заявил, что

«земля не подходящая» и «покупать ее не след». Верно ли это и какую сумму дала эта операция, до самого последнего времени было неизвестно. Дело происходило давно, очевидцев осталось мало; Карпу же Федоровичу тогда было лет 10, «понятия настоящего он не имел». Следовательно, и упрекать его не в чем...

В первый раз открыто против «мира» Карп Федорович выступил года через два после разгрома «генеральшина имения»... В это же время перед крестьянами Кожниковки с особенной остротой встал земельный вопрос. «Генеральша», напуганная разгромом, значительную часть земли продала, а оставшуюся ни за что не хотела сдать «разбойникам». Тщетно крестьяне ездили к ней, предлагая чудовищную цену — 35 руб. за десятину в год, — барыня была непреклонна. Осталась единственная возможность существовать на земле второй экономии (поместья), принадлежащей местному земскому деятелю. Эту землю пока что кожниковцы и снимали, но земля эта была предназначена к продаже и не сдавалась на долгие сроки. Неопределенность беспокоила крестьян, и жили они, главным образом, надеждой, что «терпеть еще немного».

В июне 1907 года хозяин этой земли приехал в Кожниковку и предложил купить землю по довольно сходной цене — 110 руб. за десятину. Предложение это вызвало много разговоров и споров. Мысль о безвозмездном получении всей земли крепко сидела в крестьянских головах. Кроме того, помещик требовал ко дню заключения условия по 20 руб. с десятины наличными, что многим было совершенно не под силу. В то же время крестьяне видели, что без этой земли у них останутся одни ничтожные наделы ($^3/_4$ десятины на душу); понимали, что «раз эта земля уйдет, останется одно — петля». После долгих обсуждений решили, что «купить не по силам», а что надо просить помещика «сдать землю в вечную аренду». Неизвестно, согласился ли бы помещик исполнить просьбу крестьян или нет. Совершенно неожиданно дело приняло другой оборот. Карп Федорович под шумок крестьянских рассуждений сорганизовал «товарищество трех деревень»; в товарищество вошло 38 зажиточных крестьян, и оно приобрело всю землю «на наличный капитал»... Дело было окончено довольно скоро. Явились землемеры, сняли планы; члены товарищества поделили земли, а помещик на руки получил значительный куш... Когда кожниковцы узнали, что земля продана, они в буквальном смысле разинули рты от изумления. Карпу Федоровичу достался клин в 75 десятин, верстах в трех от Кожниковки. Клин этот примыкал к надельным землям крестьян; с двух сторон его окаймляла речка, и земля эта считалась одной из лучших.

— Вот те на! — говорили крестьяне, — начисто обыграли!..

— Как же мы-то теперь, Карп Федорович, будем? Ведь, как есть не при чем... А?!.

— Да я-то что же? Вижу: вы не соглашаетесь, а те мужики уж сговорились... Надо, думаю, и мне. Что же упускать то? Да и то сказать: не купи мы, — хохлы бы взяли. Теперь ведь я ее не есть буду, землю-то. Как снимали, так и будете снимать... Тоже и другие. А у хохлов уже не сымешь...

— Ну, и дела!

Вскоре Карп Федорович в числе других 12-ти односельчан вышел из общины. Крестьяне протестовали, грозили; земский начальник разъяснил закон [1]), посоветовал еще кое-кому выделиться. Пришлось временно смириться.

---

[1]) Столыпинский закон о выделе из общины от 9 ноября 1906 г.

Купленную землю Карп Федорович, действительно, сдал односельчанам, но только на один год...

Осенью 1907 года у многих кожниковцев начал ощущаться недостаток в хлебе. В январе начали голодать. Толкнулись к Карпу Федоровичу. В числе других отправился крестьянин Рыбалкин, забитый, многосемейный мужик, вечно голодающий, вечно состоящий в долгу... Большинству в хлебе Карп Федорович решительно отказывал, но намекал, что землю купить не прочь.

— Никак этот живодер всю деревню скупить хочет?! — дивились крестьяне. — Крепитесь, мужички: землю продать — последнее дело!

Пока были силы, мужички крепились. Но силы истощились. Наступило такое время, когда «не только землю, душу чорту продашь», и, стыдясь друг друга, крестьяне «полезли в хайло».

Пример показал отставной солдат Федотов. Он «смело», «по-солдатски», «не долго думая», вышел из общины, продал землю, двор и уехал с женой «в город искать места». Затем решились еще два-три человека. В конце концов отправился к Карпу Федоровичу и Рыбалкин...

К началу весны из общины вышло девять семей, продали землю, а некоторые и избы, чтобы «ништо уж не тянуло домой». Карп Федорович и его товарищи по покупке земли «работали». Некоторые бежали из деревни «кто куда», другие ждали весны, чтобы «уйти на заработки за Волгу и на Кавказ». Ждал весны и Рыбалкин. Ему сильно не хотелось уезжать из деревни. Слабохарактерный и забитый, он дрожал и приходил в ужас перед неизвестным будущим. Из города приходили неутешительные вести: даже солдат Федотов места не находил — «нигде нет ваканции» — и скоро пойдет по миру...

С письмом в руках, без шапки, Рыбалкин побежал к Карпу Федоровичу...

— Как же будет-то, дядя Карп? Смерть ведь! Ох, господи! Силушки моей не стало! Дядя Карп! Пощади ты нас, помилуй! Вечными будем твоими работниками! Ведь что-то теперь будет? А?!

Карп Федорович подумал, побарабанил пальцами по столу. Несколько раз прошелся по комнате. Рыбалкин бормотал и тряс письмом.

— Будет, Василий, замолчи-ка на минуточку. Вижу, что уезжать тебе не рука. Я и раньше о тебе думал. Устроимся с божьей помощью. Оставайся у меня работником. Жалования большого я тебе не положу, а кусок хлеба все будет. Мужик ты смирный, я тебя не обижу... Так-то!

— Карп Федорович! Да я... господи! Век не забуду!..

Дрожа от радости, Рыбалкин бросился к Карпу Федоровичу в ноги и залился слезами.

Радостный прибежал он к жене. Путаясь, рассказал, как их облагодетельствовал Карп Федорович, хвалил его и клялся, что «теперь собственными руками перервет глотку каждому, кто скажет, что Карп Федорович живодер».

Жена выслушала это известие спокойнее.

— В работники, значит, из хозяев-то?

— Да ведь это пока-что... А там соберемся с силами, откупим землю, а избу новую выстроим. Лишь бы малость подняться...

Скоро Рыбалкин успел убедиться, что работой у Карпа Федоровича еле-еле прокормишься, и думы о своем хозяйстве надо оставить навсегда...

«ДЕРЕВЕНСКИЙ КУЛАК».

(Стихотворение Н. Тихомирова.)

Под горшок подстрижен волос,
Словно яблоки глаза,
Баритонный зычный голос:
Ну, подумаешь, гроза.

Пальцы с черными ногтями,
Ястребиный красный нос,
Сапожище с бураками,
Настоящий кровосос.

И пыхтя от объяденья,
Прется в божий храм медведь, —
Крякнув громко, без стесненья, —
Рожа красная, что медь.

Подойдя к свечному «богу»,
Поздоровался кивком,
Покрестяся чинно, строго,
Вынул денежку с коньком.

Встал на самом видном месте,
Свечку толстую зажег,
С становым молились вместе, —
Был у них единый «бог».

По пути зашел к соседу,
За гроши скупил овес,
Вел цветистую беседу,
Что добру учил Христос.

И потом с довольной рожей
Пообедал. Сыт и пьян.
Вот он, раб смиренный божий,
Царь измученных крестьян.

ПРОКЛЯТЫЙ ХУТОР.

(Бласко Ибаньес — «ПРОКЛЯТЫЙ ХУТОР».)

Когда во время сбора урожая дядя Баррет смотрел на засеянные разными хлебами и овощами квадраты, на которые были разделены его поля, он не мог подавить чувства гордости и, глядя на высокую пшеницу или на капусту, точно завернутую в кружева, на зеленые спины дынь, лежавшие на земле, и на перец и томаты, полускрытые в зелени, он восхвалял плодородие своей земли и труды своих предков, обрабатывавших ее лучше, чем обрабатывались другие участки уэрты [1]).

Вся кровь предков осталась здесь... Высшей любовью дяди Баррета, его страстью из страстей были эти поля, на которых прошла вся монотонная и молчаливая история его семьи...

[1]) Уэрта — искусственно орошаемая часть речной долины.

Ночью он кончал и начинал работать; вся уэрта еще спала, а он уже царапал свою землю при слабом свете зари, с каждым днем все более убеждаясь в том, что не в силах с нею справиться.

Было слишком много работы для одного человека. Если бы у него был хоть один сын! Нуждаясь в помощи, он нанимал батраков, которые обворовывали его, а работали мало и которых он прогонял после того, как заставал спящими в хлеву среди белого дня.

Из уважения к своим предкам он скорее умер бы, надорвавшись над работой на своей земле, чем согласился бы на то, чтобы хоть какая-нибудь часть ее попала в аренду в чужие руки. Поэтому, не будучи в силах совладать со всей работой, он оставлял под паром половину своего плодородного невозделанного участка, надеясь обработкой другой половины прокормить семью и уплатить хозяину...

Из всех фермеров дон Сальвадора лучшим был Баррет: хотя и ценой огромных усилий, но он выплачивал ему все в срок. И старик, ставя его в пример остальным арендаторам, доводил свою жестокость по отношению к нему до крайности и становился с ним все придирчивее, поощряемый кротостью крестьянина, обрадованный тем, что нашел человека, над которым мог безнаказанно измываться, удовлетворяя свои инстинкты притеснителя и хищника.

Наконец, он повысил таки арендную плату за участок. Баррет запротестовал, даже всплакнул, напоминая о заслугах своей семьи, вложившей свою жизнь в эти поля, чтобы сделать их лучшими в уэрте. Но дон Сальвадор остался неумолим. Они лучшие в уэрте? Ну, так и платить нужно больше. И Баррет стал платить прибавку: скорее он отдал бы свою кровь, чем покинул участок, по капле высасывавший его кровь.

У него уж не было денег в запасе, чтобы извернуться в случае затруднительных обстоятельств, — он мог теперь рассчитывать лишь на то, что приносило поле. И совершенно одинокий, скрывая от семьи свое положение, вынужденный отшучиваться, когда жена и дочь убеждали его не изнурять себя, бедняга Баррет предался отчаянному, безумному труду...

Хуже всего было для него то, что, надрываясь над непосильной работой, он принужден был отдавать половину заработка ненасытному мироеду. Последствия его безумного труда не заставили себя ждать. Лошаденка дяди Баррета, терпеливое животное, верный товарищ, деливший с ним все горести, устав работать днем и ночью, таскать на рынок в Валенсию телегу с грузом овощей, а затем, без минуты передышки, во время которой можно было бы остыть от пота, впрягаться в плуг, — предпочла околеть раньше, чем позволить себе малейшую попытку возмущения против своего бедняги хозяина.

Тут крестьянин увидел, что окончательно погиб. С отчаянием смотрел он на свои поля, которых уже не мог возделывать, на гряды свежих овощей, которые равнодушно поедались горожанами, не подозревавшими, каких мучений стоило их выращивание несчастному отцу этой семьи в его непрерывном поединке с землей и нищетой.

Но провидение, никогда не оставляющее бедняка, обратилось к нему устами дон Сальвадора. Не даром же говорится, что нет худа без добра.

Этот гнусный скряга, алчный ростовщик, узнав о его несчастье, с трогательной отеческой добротой предложил ему помощь. Сколько ему нужно для покупки новой лошади? Пятьдесят дуро [1])? Дон Сальвадор

---

[1]) Монета около двух рублей.

рад помочь ему и показать тем самым, как несправедливы те, кто его ненавидит и распространяет о нем дурную славу.

И он ссудил Баррета деньгами, хотя и с соблюдением незначительной формальности — дружба дружбой, а дела делами, — он заставил дядю Баррета подписаться на бумажке, в которой говорилось о процентах, о накоплении процентов на проценты и об обеспечении долга, в связи с чем упоминалось о мебели, о земледельческих орудиях, обо всем, что только бывает у крестьянина в доме, включая и скот в его коррале [1]).

Баррет, ободренный приобретением лошади, молодой и сильной, с еще бо́льшим рвением принялся за работу и еще более надрывался над этими полями, которые изводили его и, казалось, росли по мере того, как уменьшались его силы, окутывая его словно красным саваном.

Все, что ни приносили его поля, поглощалось его семьей, и горсти медяков, которые извлекались из продажи на валенсианском рынке, таяли, никогда не доходя до того, чтобы составить сумму, необходимую для удовлетворения дон Сальвадора.

Мучительные и тщетные усилия дяди Баррета уплатить свой долг пробуждали в нем некоторый инстинкт возмущения, рождали в его неразвитом уме смутные идеи справедливости. Почему эти поля принадлежат не ему? Его предки оставили все свои силы на этих землях; они политы по́том его семьи; если бы не они, не Барреты, эти поля были бы так же пустынны, как берег моря, а теперь этот бессердечный старик хочет задушить его, загнать до смерти своими понуканиями, так как хозяином оказывается он, хотя не умеет взять в руки мотыки и во всю свою жизнь ни разу не согнул спины. Господи! как странно устроили свет люди!..

Из рождественской половины арендной платы он мог вручить дон Сальвадору лишь небольшую часть...

Старый скряга оказался неумолим. Нет, Баррет, это не может продолжаться. Как добрый человек, — хотя люди и не верят, чтобы он был добрый, — он не может допустить, чтобы крестьянин изнурял себя работой, возделывая земли, превосходящие его силы. Он этого не потерпит; это невыносимо для его доброго сердца. И так как у него есть в виду новый арендатор, то он предупреждает Баррета, чтобы он как можно скорее очистил хутор. Он вполне ему сочувствует, но он сам беден... Ах да!.. По этой-то последней причине он напоминает, что следует вернуть долг, сделанный им для покупки лошади, сумма какового возросла до...

Несчастный крестьянин не обратил внимания на тысячи реалов [2]), до которых достигла сумма долга с волшебными процентами, так ошеломило и смутило его приказание покинуть участок...

Крестьянин устал просить пощады. Он несколько раз ходил в Валенсию к хозяину, толковал о своих предках, о моральных правах, которые он имеет на эту землю, умоляя немножко потерпеть, повторяя с какой-то безумной надеждой, что все заплатит, и, в конце концов, скряга перестал пускать его на порог...

Однажды его уведомили, что после полудня явятся судебные власти для того, чтобы согнать его с поля и, кроме того, описать для уплаты его долгов все, что есть у него в доме. Эту ночь он уже не будет спать у себя на хуторе.

Это показалось дяде Баррету до такой степени невероятным, что он недоверчиво улыбнулся. Это делают с жуликами, с тем, кто никогда не

---

[1]) Корраль — скотный двор.

[2]) Реал—монета около 9 коп. по до-военному курсу.

платит, а он всегда все выплачивал аккуратно; он родился на этом участке и должен арендную плату всего-то за один год... О, господи! Ведь он живет не среди дикарей, не знающих ни жалости, ни бога.

Но после полудня, когда он увидал идущих по дороге господ, одетых в черное, зловещих птиц с крыльями из свернутых в трубку бумаг под мышкой, он перестал сомневаться. Это приближается враг. Это шли его грабить...

Их выселили из хутора. Черные люди заперли дом и унесли ключи с собой. У них не осталось ничего, кроме этих узлов, которые лежали на полу, носильного платья и инструментов; это было все, что им позволили вынести из дома...

Жена и дочери разоренного крестьянина ушли с соседками, чтобы провести ночь в их домах...

Дядя Баррет отправился прямо к своим полям и, как бездомная собака, стал бродить вокруг своего дома...

С серпом в руке он бросился на эти поля, которые были его мучением.

Теперь за все сразу заплатит эта неблагодарная земля, причина всех его несчастий!

Целые часы длилось истребление. Под его ногами рушились своды из тростника, по которым вились зеленые стебли нежной фасоли и гороха, падали на землю бобы, срезанные разъяренным серпом, и кочны салата и капусты отлетали далеко под ударами острой стали, точно отсеченные головы, рассеивая вокруг свои листья, как волосы... Пусть никто не воспользуется плодами его трудов. И он резал так почти до рассвета, бешено топча сапогами, громко бранясь, выкрикивая проклятья, пока, наконец, усталость утишила его бешенство и он бросился на борозду, рыдая, как ребенок, думая о том, что впредь земля будет его постелью, и его единственным занятием будет нищенство на дорогах...

Приподнявшись, он высунул голову из конопли и увидел на повороте дороги маленького человечка, шедшего медленно, закутавшись в капу [1]).

Баррет почувствовал, как вся кровь сразу ударила ему в голову... Перед ним был человек, которого он искал...

— Баррет! сын мой! — произнес дон Сальвадор прерывающимся голосом. — Это была шутка; не принимай этого так близко к сердцу. Все вчерашнее было только для острастки... ничего больше. Ты останешься на своем участке... приходи ко мне завтра... мы поговорим: ты заплатишь, когда захочешь...

И он изгибался всем телом, стараясь держаться подальше от дяди Баррета, пытаясь ускользнуть, избежать страшного серпа, в лезвее которого отражались солнце и небесная лазурь. Но так как за спиной у него была канава и ему некуда было двинуться, то он только откидывался назад, прикрываясь судорожно сведенными руками.

Крестьянин улыбался, точно гиена, скаля свои острые, белые зубы бедняка.

— Обманщик! Обманщик!.. — отвечал он голосом, походившим на хрип.

И, размахивая серпом из стороны в сторону, он искал места, чтобы нанести удар, избегая худых рук, отчаянно простиравшихся вперед.

— Но, Баррет! Сын мой! что с тобой? Опусти это оружие... Не играй им. Ты человек честный... подумай о своих дочерях. Повторяю тебе, это была шутка. Приходи завтра, я дам тебе клю... Аааа...

---

[1]) Капа — плащ.

Дон Сальвадор упал в канаву; его ноги, дергавшиеся в предсмертных судорогах зарезанного животного, остались на берегу, между тем как голова зарылась в грязь...

Целых шесть месяцев в уэрте только и говорили, что о дяде Баррете.

По воскресеньям мужчины и женщины ходили точно в паломничество в валенсианскую тюрьму, чтобы посмотреть через железные прутья решетки на бедного освободителя, с каждым днем все более худевшего, с ввалившимися глазами и беспокойным взглядом.

Наступил день суда, и его приговорили к смерти...

Его семья распалась, рассеялась, как пучок соломы по ветру. Дочери одна за другой покинули приютившие их семьи, переселившись в Валенсию, чтобы зарабатывать себе хлеб, нанявшись в услужение, а бедная старуха, устав быть в тягость людям своими болезнями, отправилась в госпиталь и вскоре умерла.

Жители уэрты, как все люди, легко забывающие о чужом несчастье, лишь время от времени вспоминали о страшной трагедии дяди Баррета...

Но никто не забыл о его полях и хуторе, которые оставались в том самом виде, как в тот день, когда правосудие отняло их у злосчастного арендатора.

Это было безмолвное соглашение всей уэрты, инстинктивный заговор, вступая в который, люди почти не обменялись ни словом, но в котором приняли участие, казалось, даже деревья и дороги...

Ни один крестьянин не желал брать участка даже даром...

Запущенное поле было талисманом, который поддерживал тесное единение между обитателями уэрты, сближая их, — памятником, доказывавшим их власть над хозяевами; это было чудо, совершонное солидарностью нищеты в борьбе с законами и богатством тех, кто является господами земель, не обрабатывая их, не орошая их своим потом...

У САКСОНСКОГО ПОМЕЩИКА.

(В. Поленц—«КРЕСТЬЯНИН».)

Люди, уехавшие в Саксонию, добрались до места назначения. Повозки из помещичьего имения Вельцлебен приняли их со станции и привезли на фольварк [1]) Габельдам. Здесь управляющий поместил их в приготовленной для них казарме.

Уже на следующее утро начались полевые работы.

Свекловица только что взошла, и около нее еще не было никакой работы. Поэтому девушек поставили полоть озимые, а мужчин — на работу в яровом поле. Здесь, на западе, условия, в которые так сразу попали люди, пришедшие из восточной части страны, были совершенно новые для них. На огромном и ровном пространстве раскинулись плодородные поля: поле к полю, полоса к полосе, насколько только мог охватить глаз, пересекались прямыми шоссейными дорогами и аллеями из фруктовых деревьев. Каждая пядь земли была здесь обработана. Земля, повидимому, стоила здесь так дорого, что даже на межах не давали расти ни дереву, ни кустику. Нигде глаз не встречал неудобной земли, камни были старательно выбраны с полей. На горизонте нигде не было ни леса, ни кустарника, ни выгона. Лугов было мало; пашня царила здесь над всем...

---

[1]) Фольварк—усадьба, поместье.

А самая обработка! Лопаты здесь не знали; паровой плуг во многих местах вытеснил конный. Хлеб молотили паровой машиной, а высевали сеялкой. И в хозяйстве все тоже шло на самый новейший лад...

А деревни! Они имели совсем вид города. Дома тесно стояли в рядах и были похожи один на другой, как две капли воды: с выбеленными гладкими стенами, крытые черепицей; нигде следа дерева, ни деревянной галлерейки, ни соломенной крыши...

Немногочисленные крестьяне были настоящими господами. Они разъезжали верхом и в экипажах, как настоящие помещики, жили в больших, прекрасных домах и посылали своих детей в городские школы...

Так как гор в этой стороне не было, деревья попадались редко, а колокольни были низенькие и еле заметные, — то глазу, собственно, не было бы на чем и остановиться, если бы не заводские трубы, гордо и однообразно высившиеся в воздухе. Это были трубы то сахарного завода, то кирпичного или винокуренного.

И на фольварке Габельдам стояла такая же труба, принадлежавшая винокуренному заводу. Двор экономии состоял из новых одноэтажных зданий. Вся усадьба стояла как на блюдечке, блестя на солнце своими белыми стенами и ярко-красными черепичными крышами среди зеленых полей свекловицы, подходивших к самым постройкам. Полевая дорога соединяла фольварк с главным имением Вельцелебен. Другая, большая дорога шла широкой полосой через соседние свекловичные плантации к сахарному заводу. Этот завод был акционерным предприятием окрестных землевладельцев.

Немного в стороне от экономического двора стояла постройка для жилья пришлых рабочих, или «казарма», как ее все здесь называли. Это был двухэтажный средней величины дом, выстроенный в «точном соглашении с полицейским предписанием», как не преминул заметить управляющий, вводя в казарму Густава с его людьми.

В нижнем этаже было два больших помещения, — одно, большое, было предназначено для жилья и еды девушек, другое для мужчин; тут же была и кухня с усовершенствованным очагом и прачечная...

Работа большей частью назначалась сдельно, что заставляло даже и наиболее ленивых работать как можно больше... Каждую субботу Густав получал расчет на неделю.

Часть денег удерживалась в обеспечение, на тот случай, если кто-нибудь из работников бросит работу до срока. Также предусмотрены были и штрафные деньги, и в контракте имелся еще пункт, по которому работник мог быть рассчитан без всяких разговоров и без права получить заработанные деньги, если он не подчиняется распоряжениям работодателя или его служащих. Одним словом, как выражался Гешке, они были «проданы живыми, со шкурой вместе»...

Время уборки обозначало для пришлых работников перемену в условиях их работы. До сих пор они работали главным образом сдельно... Стремясь заработать как можно больше, они становились на работу с рассветом и никогда не кончали ее раньше наступления ночи, делая короткие перерывы для завтрака, обеда и полдника. Такая старательность дала им возможность хорошо зарабатывать. Но и качество работы нисколько не страдало от того, что им хотелось сделать как можно больше, потому что Густав Бютнер строго смотрел за их работой. Самолюбие не позволяло ему, чтобы про работу его артели могли сказать, что она небрежна. Глаз иногда внезапно наезжавшего господина управляющего тщетно искал повод к разносу за плохую работу или даже

к вычету из заработной платы. До сих пор он все еще не нашел случая выполнить свое доброжелательное намерение.

Но дело пошло иначе, когда наступило время уборки. Вместо сдельной, по условию плата считалась поденно... Между работниками поднялся ропот, и некоторые заявили, что при поденной плате они не будут стараться...

Однажды к артели подъехал верхом управляющий и с высокомерной резкостью объявил им, что с началом уборки ржи вступает в силу условие о поденной плате. Он рассчитывает, что с рассветом они непременно встанут на работу и хорошо постараются, лодырничанья же он не потерпит...

На следующее утро часть работников нельзя было заставить выйти на работу ранее пяти часов утра, несмотря на все уговоры Густава, который то умолял их, то грозил. Вожаком у этих непокорных был Карл Гешке.

В контракте ведь ничего не говорилось, что они обязаны работать в сверхурочные часы. Рабочий день начинается с пяти часов утра и продолжается до семи вечера. А если их не попросят, то они и минуты лишней не будут работать сверх того, что положено...

Во время обеденного перерыва Густав пошел на фольварк к управляющему. Увидев у себя надзирателя в такое необычное время, управляющий удивленно вытаращил глаза. Узнав же, в чем дело, он пришел в страшную ярость.

— Как?! Вы хотите требования ставить?.. Это—мошенничество! В контракте что стоит!.. всех без разговора могу я вас прогнать. Лишние часы!.. Ни одного пфеннига не прибавлю. Кто не будет в четыре часа на своем месте, — три марки штрафа. Мошенники!.. Я еще с вами справлюсь!..

Кончилось тем, что люди ушли с поля, оставив неубранным уже скошенный хлеб...

К вечеру управляющий прислал сказать, что желает переговорить с надзирателем... Управляющий принял Густава совершенно иначе, чем днем. Надменности в нем теперь не было и следа, и тон его голоса звучал значительно ласковее; он даже предложил Густаву стул, чего до сих пор еще никогда не случалось...

Если бы это зависело только от него, то он на все бы изъявил согласие; но господин Гальштедт имеет свои очень определенные взгляды и ни за что не согласится при поденной работе платить за сверхурочные часы...

На следующее утро стачечники высыпались. Когда телеги с фольварка прогромыхали мимо казармы, они только перевернулись на другой бок...

В это же утро управляющий явился лично в казарму; он еще раз вызвал надзирателя для переговоров. На этот раз разговор был очень короток. Требования рабочих были удовлетворены. Час спустя они снова взялись за работу...

БАТРАК.

(Стих. М. Конопницкой.)

В колосьях желтеющих нив утопая,
По узкой меже сквозь редеющий мрак,
В убогой сермяге, кряхтя и вздыхая,
Проходит свободный батрак.

Названье и правда еще не бывали,
Казалось, от века в разладе таком.
Еще не светилось подобной печали
Во взоре разумном людском.

Тот год был тяжелый: по всходам промчался
Серебряный бич многоводных дождей,
И пахарь лишь плевел бесплодных дождался
С заплаканной нивы своей.

За подати выгнан, как зверь нелюдимый,
Из хаты, он брата кругом не нашел;
Заветную горсть лишь землицы родимой
В платок завязал и пошел.

Свирель заиграла над синей рекою,
Румяное солнце встает из-за гор...
Свободный батрак. Что ж он стал и полою
Кафтана ресницы отер?

Свободный... Уж в ясли сегодня скотине
Не нужно душистого сена бросать;
Из края родного он волен отныне,
Куда загадает, бежать.

Свободный... Он тягости в мире не знает, —
Коса разве та, что звенит за спиной,
Отрепье, что впалую грудь прикрывает,
Да боль от тревоги глухой.

Свободный... Малютку последнего — сына —
В слезах он на кладбище снес,
И с жалобным визгом остался близ тына
Его издыхающий пес...

Свободный... Ведь может лежать он бездумно
Итти, не жалея пораненных ног,
Рыдать без конца иль смеяться безумно,
Петь песни... Суди его бог.

Замерзнуть он может, покончить с собою,
О камни дорожные череп разбить...
Заря будет снова сменяться зарею,
Зари для него уж не быть.

Назад оглянулся он с горечью новой:
Опишут там каждую тряпку в избе,
Убогое поле, лесок вересковый...
Коса лишь осталась тебе.

Иди же косить, хоть издохни без хлеба,
Хоть силу и волю вконец изведи,
Но подать — священная заповедь неба,
Ее не парушь ты, иди.

Чего ж он стоит, — он, свободный, как птица?
Живи, коли хочешь, не хочешь — умри,
В реке утопись иль иссохни, как спица,
Трудясь от зари до зари.

И горстью хоть волосы рви он, — не встретит
Ни в ком состраданья живого бедняк.
Хоть мертвым пади — и никто не заметит...
Свободный он, вольный батрак...

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.

(Крживицкий — «ПО ВИСКОНСИНУ И ДАКОТЕ».)

Мы пересекаем область озер... Поезд, не замедляя ни на минуту своего хода, останавливается, наконец, перед станцией. Надпись гласит: Барнесвилль. Поселение это невелико, в нем несколько сот жителей. Оно расположилось в открытом поле или, выражаясь точнее, среди прерии, лишенной деревьев и кустов и поросшей лишь степным бурьяном. Главная, едва ли не единственная улица тянется параллельно железной дороге и не имеет мостовой, а снабжена лишь одним тротуаром из досок. Дома представляют простые деревянные хижины и балаганы... Правда, это хижины, но на одной из этих хижин виднеется надпись: «Государственный банк». Возле железной дороги возвышаются два элеватора [1]) грязно-кирпичного цвета и странной формы; один из них принадлежит местному союзу фермеров, о чем мы узнаем по надписи. Из-за густой сорной травы выглядывает ряд жней, вяжущих снопы, и манит к себе наши взоры яркой желтизной своей окраски, а там вдали краснеет одна, другая, много паровых молотилок. В захолустье кипит промышленная деятельность, и его торговые обороты, пожалуй, превышают торговые обороты многих из наших уездных городов.

Поселение давно уже исчезло из виду, а вслед за ним исчезли и фермы, которые довольно тесною толпой окружают станцию. Местность потонула в отдалении, и мы опять в степи. Луга без конца. Трава по пояс; теперь, когда она пожелтела от засухи, ее можно принять за хлебную ниву. Местами пасется скот.

Поросшая дикой травой, естественная степь с каждым шагом заметно убывает, зато все чаще и чаще появляются хлебные поля, по преимуществу пшеничные. Вот, наконец, прерии окончательно сменились безбрежным пахотным полем, гладким, как стол, без деревьев и холмов. Куда ни взглянуть, везде на гладкой поверхности лежат поваленные снопы пшеницы. Странное впечатление производит эта картина на глаз, привыкший видеть пшеницу мелких полей, испещренных разнообразными цветами, из которых одно засеяно краснеющим клевером, другое белеет цветом гречихи, третье—желтое, и которые отделены друг от друга оградами и заборами. Гляжу в бинокль в надежде увидеть где-нибудь на горизонте конец этого огромного поля. Напрасный труд! Оно тянется без конца, без перерыва. В полном смысле слова, пшеничная степь, без деревьев, без межей, без других хлебов,—одно сплошное жниво с расположенными на разных расстояниях друг от друга стогами снопов пшеницы. Порой целых четверть часа едем по такому полю, которое лишь на минуту сменяется чистым жнивом, а там опять на десять и более минут расстилается пространство, покрытое снопами. Единственное разнообразие вносят фермы, ярко выступающие на желтом фоне своими строениями грязно-кирпичного цвета. Иногда посаженные человеческою рукою рощицы заслоняют своею тенью жилища, но они попадаются все реже и реже. Человек не успел еще здесь украсить степь искусственною зеленью. Лишенное деревьев, даже садика, человеческое поселение располагается обыкновенно на пшеничной ниве, и никакой забор не устанавливает границ между пространством, занятым хутором, и морем хлеба. Степной бурьян всецело овладел двором. Всевозможные сорные травы, изгнанные плугом, назначили себе сходку под защитой строений.

[1]) Элеватор—особого устройства амбар для хранения хлеба.

Самое устройство поселения носит на себе своеобразный, чисто-американский отпечаток. В нем я не могу найти и следов той привязанности к земле, какою отличается европейский крестьянин. Здесь каждая ферма производит впечатление подвижного шалаша кочевника, который во всякую минуту может поставить свое жилище на колеса—а такие случаи здесь бывают—и поехать дальше хищнически высасывать соки из другой почвы, бросив окончательно истощенный и оскудевший участок земли. Человеческие жилища передвигаются на колесах, привязанные к паровому локомобилю, заменяющему лошадь...

Плодородие почвы кажется просто баснословным; по мнению местных землевладельцев и агрономов, почва вполне способна давать одинаковые сборы пшеничного зерна в течение сотни лет, не нуждаясь нисколько в удобрении. Вот почему поток переселенцев разливается по прежней прерии, подобно горному ручью, выступившему из берегов и прорвавшему насыпи в долине. Степи, которые лет десять-двадцать тому назад оставались совершенно пустынными и служили лишь убежищем для бизонов, в настоящее время представляют бесконечную волнующуюся золотистую поверхность. От бизонов остались лишь побелевшие кости...

В течение целых пяти часов неизменно расстилается перед нами один и тот же вид—пшеничное жниво без конца, с правильно разбросанными стогами пшеницы. Эта правильность создается жнеей, выбрасывающей из себя снопы на одинаковых расстояниях. А среди этого безграничного поля я еще до сих пор не заметил человека.

Что должен чувствовать человек, заброшенный в пшеничную степь? Я имею в виду не крупных капиталистов, а обыкновенного фермера, соответствующего по своему положению нашему крестьянину. Что он не обладает душой европейца и при продаже своего участка не станет горевать о том, что ему приходится покинуть деревенское кладбище, на котором покоятся его прадеды, и навсегда проститься с журчанием деревенского ручейка, это очевидно...

Пусть только разнесется весть о чем-нибудь еще более выгодном, эти люди наверное покинут свое теперешнее местопребывание и, подобно кочевникам, потянутся далее, чтобы в другом месте раскинуть свои шатры. Жажда наживы въелась в существо здешнего земледельца.

На одной из станций я увидел целую толпу этих земледельцев. У них смелый и уверенный взгляд, загорелые лица с осмысленным выражением, — одним словом, это люди, которые, если выразиться по-американски, самостоятельно устраивают свою судьбу и готовы искать счастья повсюду, хотя бы за тридевять земель. Земледелец становится здесь в более близкие отношения к городу и пропитывается более городскими понятиями. Пашет он плугом, на котором сидит; собирает урожай при помощи самовяжущей жнеи; паровая молотилка, снимаемая за известную плату поденно, выколачивает его сборы. Вместо того, чтобы хранить зерно у себя на ферме, он ссыпает его в элеваторы, одевается в платье, сшитое в городе, даже в печке у себя сжигает уголь, а на кухне нефть, привезенную из города. На каждом шагу он зависит от города. Он перестал быть созданием, работающим на чуждый для него город.

И разбросанность поселений, лежащих одно вдали от другого, толкает его по направлению к городу...

Весною, когда нивы зазеленеют на беспредельном пространстве, и летом, когда пшеничная степь покроется золотистым блеском,— в такое время года человеку бывает весело среди природы. Но зато какое запустение воцаряется над прерией, когда зима оденет равнину снежным саваном и метели начнут свободно разгуливать по этим бесконечным

пустыням. У женщины не находится под рукою кумушки, да и хозяину трудно найти собеседника. Ближайший городок служит единственным убежищем. Там происходят заседания различных союзов, к которым в большом числе принадлежат земледельцы; дети посещают школу; клубы предоставляют молодежи свои залы для танцев. Семейства фермеров переселяются в это время года в города. Город царит над деревней, хотя земля все еще продолжает делиться на мелкие клочки, составляющие частную собственность...

ВБЛИЗИ ФАБРИКИ.

(А. Маликов — «НА ЗАДВОРКАХ ФАБРИКИ».)

Фабрика была из крупных, и на ней сосредоточивалось более 4-х тысяч всякого рабочего народа, преимущественно ткачей и прядильщиков.

Большинство рабочих были местные—из окружных селений; однако, только самая малая часть их, деревни которых лежали тут же, за фабричной чертой, приходила на работы из своих домов, а все остальные жили постоянно на фабрике. Значительная доля из этих принадлежала уже к коренному населению ее. Многие тут же на ней родились и выросли.

Весь этот люд когда-то, конечно, тоже принадлежал к действительному крестьянству, когда-то и он имел кусок земли и угол в своей собственной избе, но теперь все это провалилось в какую-то пропасть. Давным-давно уже мнимое крестьянство оторвалось от своей бесплодной родимой глины и песков и давным-давно даже забыло и дорогу туда...

В округе, верст на 15 от фабрики (а вообще их в этой местности было не мало), встречалось уже множество хозяйств, где круглый год в деревнях жили только старый да малый. Земля там ковырялась кой-как; на хлеба в полях смотреть было жалко: так они были редки и тощи. Среди клиньев пахотной земли беспрестанно пестрели там и сям полосы пустовалой и заброшенной пашни. Обыкновенно в таких обществах подобную землю не только не брали за взнос податей но даже, и с небольшой приплатой: так бесплодны и бездоходны были эти земли.

— Уж нивесть зачем и ковыряем, — говорили крестьяне из таких селений.—Ровно как по привычке только: все же крестьяне; да вот что хоть кой-какое пристанище старому да малому есть; а сам видишь, какой толк из нашего землепашества. Земли у нас холодные, навозу много требуется, а где его возьмешь, когда у иного и лошаденки-то уже нет... Ну, пойдешь жать-то — одна шуя [1]), вот тебе и хозяйство...

Зато крестьяне-кулаки жили очень хорошо, держали добрых лошадей, занимались то доставкой фабричного товара, то кой-какими мелкими подрядами и торговлей, давали взаймы деньги, арендовали земли и прекрасно удобряли и обрабатывали их...

---

[1]) Так называется на местном крестьянском языке полевой мятлик.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

стр.

Вместо предисловия 3
«Памяти Карла Маркса». В. Кириллов. 5

I. ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ В КАПИТАЛ.

Тайна эксплоатации. Ю. Михалевский 9
Рабочая сила. Д. Лондон 10
Шершавая ладонь. Н. Тихомиров 11
Купля—продажа рабочей силы. Э. Синклер 12
Дешевый товар. Д. Мамин Сибиряк 13
Бюджет рабочего. Э. Синклер 17
В рабочей казарме. А. Грушецкий 17

II. ПРОИЗВОДСТВО ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ.

Прибавочный труд. М. Е. Салтыков-Щедрин 23
Хозяин. Д. Бедный 26
Ради прибавочной стоимости. Д. Н. Мамин-Сибиряк 26
Фабричный шум. А. Артамонов 29
Границы рабочего дня. К. Маркс 30
Рабочий день. А. Фролов. 31
Песня о рубашке. Т. Гуд 32
Белые рабы. К. Маркс 34
Восемь часов. П. Я. 35
20 лет в сутки. А. Куприн 36
Смерть рабочего. А. Бибик 37

III. ФАБРИКА И РАБОЧИЙ.

Добавочные рабочие силы. К. Маркс 41
Волей-неволей. В. Вересаев 41
Мастер. Д. Бедный 45
Доля работницы. В. Вересаев 46
Петькина карьера. Г. Успенский 48
Плач детей. Р. Броунинг. 52
Превращение детской крови в капитал. Д. Лондон 53
Посещение фабрики инспектором. Д. Лондон 58
Машинушка. 60
Первые жалобы на машины. П. Бризон 61
Враг машины. М. Кретцер 61

стр.
Бунт ткачей в Ланкашире. М. Туган-Барановский 64
Сцены из «Разрушителей машин». Э. Толлера 65
Стоимость, переносимая машиной на продукт. И. М. Кулишер 73
Моральное снашивание средств производства. Е. Филиппович. 75
Лишние. В. Реймонт 76
На $^1/_8$ цента дешевле. Э. Синклер 76
Дороже жизней. Э. Синклер 77
До полного напряжения. Б. Келлерман 80
В заводе. Самобытник. 81
Машина и квалифицированный труд. А. Эдвардс 81
Фабричное рабство. К. Маркс 82
Старая фабричная песня 83
Живая машина. Э. Золя 83
Глухарь. Л. Гаршин 84
Механизация труда. Из сборника французского союза металлистов. 85
Рука Джексона. Д. Лондон 86
Машина на службе у воинствующего капитала. К. Маркс 88
Машинам. А. Дикий. 89
Гудки. Н. Гастев 90

IV. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Заработная плата. К. Маркс. 93
Повременная оплата. А. Фролов, ... 94
Фабричная лавка. А. Маликов. 95
В потогонной мастерской. А. Эдвардс 97
Капиталистический пресс. Э. Синклер 99
Обкрадывание рабочего. Э. Синклер 100
Участие в прибылях. Э. Золя 102
В последнее плавание. Г. Гейерманс. 103
Из прошлого экономической борьбы. Г. Плеханов 108
По тарифу. Леруа Скотт. 111
За рабочий союз. Э. Синклер 112

V. НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА.

Процесс воспроизводства. Р. Люксембург 119
Воспроизводство капиталистического отношения. Э. Золя 121
Отдельная раса. Э. Синклер 122
Лодзинские миллионы. В. Реймонт 123
Жрец накопления. Э. Золя 124
Прибавка невозможна. Леруа Скотт 126
Изменение состава капитала. Д. Гобсон. 127
В фабричном царстве. Шульце-Гевернитц 127
Концентрация производства. Э. Синклер 128
Централизация капитала. Д. Лондон. 129
Производство относительного перенаселения. Д. Гобсон. 131
У фабричных ворот. Э. Синклер 132
Побежденные. А. Негри 132
Работы, или в тюрьму. М. Туган-Барановский 134
Мертвый сезон. Э. Золя 134
Скрытое перенаселение. Р. Базен. 135
В страдную пору. Э. Синклер 137

стр.
Эмигранты. Ж. Экхуд 138
Старый рабочий. С. Обрадович 139
Работный дом. Д. Лондон 140
Босяк. М. Горький 142
У американского судьи. Д. Лондон 144

VI. КАПИТАЛИЗМ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Завоевания капитала в деревне. К. Каутский. 149
Торговое село. М. Салтыков-Щедрин 152
Разуваев. М. Салтыков-Щедрин 153
Сынок. Д. Бедный 155
Мелкое крестьянство. К. Маркс 156
На клочках земли. Э. Золя 156
В батраки. И. Вольнов 158
Хозяин и батрак. Д. Бедный. 160
Расслоение деревни. М. Горький 161
Новый помещик. И. Коновалов 162
Деревенский кулак. Н. Тихомиров 165
Проклятый хутор. Б. Ибаньес 165
У саксонского помещика. В. Поленц 169
Батрак. М. Конопницкая 171
Капиталистическое земледелие. Крживицкий. 173
Вблизи фабрики. А. Маликов 175